



Поэт и царь Пушкин: поэтический язык и политическая риторика

А. Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
кандидат филологических наук

Пушкинское литературное поколение уже не *мыслит* готовыми стилями, тем более стилями — официальными; для него написать стихотворение, полностью подчинённое риторическим правилам эпохи и как бы автономное от индивидуального мироотношения поэта, — значит совершить измену себе. Или, в лучшем случае, принести добровольную жертву Истории. Хвалить Екатерину Великую, всецело презирая её (как это спокойно делал Карамзин) — невозможно. Возможно лишь *играть* с клишированными формулами. Так, юный Пушкин из стихотворения в стихотворение повторяет слово *самовластье*, соотнесённое с риторическим контекстом начала alexандровского царствования. Как политический термин, слово это указывало на павловские времена, не подлежащие прямому осуждающему упоминанию. Но ни разу в ранних пушкинских стихах *самовластье* не употреблено в своем контекстно связанном значении. Каждый раз оно либо переадресовано alexандровскому царствованию («〈...〉И на обломках самовластья/Напишут наши имена» — «К Чаадаеву», 1818; здесь и далее пушкинские произведения цитируются по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В XVI т. М.-Л., 1937—1949. Т. III, 1). Либо — намекает власть предержавшим на возможность такой переадресовки, если не будут выполнены либеральные обещания: «Самовластительный злодей!/Тебя, твой трон я ненавижу〈...〉» («Вольность», 1818). Позже,

в послании «К Языкову» 1824 года, *самовластье* вообще получит расширительное толкование: это и псевдоним александровского правления, и некая форма политического рока, и безличная человеческая судьба: «Но злобно мной играет счастье:/ Давно без крова я ношусь,/ Куда подует самовластье:/ Уснув, не знаю, где проснусь».

Если же у Пушкина возникает необходимость говорить языками не «ангельскими и человеческими», а политическими и придворными, если ему приходится «беспримесно» использовать риторические приёмы, то он всё равно избегает сотрудничать с ними напрямую.

Пушкин предпочитает использовать систему *литературных* зеркал и старается брать клише, уже использованные его поэтическими предшественниками. То есть — он включает в свой поэтический словарь формулы официального обихода, уже *обработанные* литературой и хранящие — хотя бы слабый — след соприкосновения с *художественной* словесностью. При этом ему важно, чтобы устанавливалась ассоциативная связь между ситуацией, в которой сочинял свои «служебные» стихи цитируемый поэт, и ситуацией, в которой сочиняет их сам Пушкин. *Центр тяжести с риторического приёма смещается на обстоятельства его использования*, и в результате возникает дополнительный эффект. Эффект, не столько усиливающий художественный строй стихотворения, сколько ослабляющий — строй риторический.

Так, 12 декабря 1826 года, в день рождения покойного императора Александра I, возвращённый из Михайловской ссылки Пушкин пишет «Стансы», адресованные новому русскому императору Николаю I:

В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлёк сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрелца
Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал её предназначенье. <...>

Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неколебим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.

В «Стансах» отчётливо слышны отголоски поздравительной оды Н. М. Карамзина «На восшествие на престол» Александра Павловича (отдельное издание: М., 1801; цит. по: Николай Михайлович

Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии. С прим. и объясн. М. Погодина. М., 1866. Ч. 1). Причём повторяются не просто мотивы, но именно риторические приёмы. То же прославление милости и любви как государственной добродетели:

Когда монаршими устами
Вещала *милость* нам одна,
И правила людей сердцами <...>
И власть монаршая казалась
Нам властью любви одной...

То же призывание власти к диалогу с интеллектуалами, служителями истины — «России лучшими сынами».

То же напоминание о Петре Великом, отличавшем дерзкого Долгорукого от буйного стрельца:

<...>И Долгорукие дерзали
Петру от сердца говорить;
Великий соглашался с ними,
И звал их братьями своими.
Монарх! Ты будешь нас любить!

И чуть позже, когда Пушкину придётся в стихотворении «Друзьям» отводить упреки либеральной среды в измене идеалам свободолюбия, он вновь подхватит мотивы карамзинской оды 1801 года; в строфе «Беда стране, где раб и льстец/Одне приближены к престолу,/А небом избранный певец/Молчит, потупя очи долу», — без труда узнаются смысловые и (что для нас в связи с нашим сюжетом гораздо важнее) стилевые решения Карамзина:

Есть род людей, царю опасный;
Их речи как Индийской мёд; <...>
Их имя — *хитрые льстецы* <...>
Их доступ к Трону заградится;
Твой слух вовек не обольстит
Коварной, ложной их хвалой.
Ты будешь окружён друзьями <...>

Да и в строках «Хвалу свободную слагаю,/Языком сердца говорю» вновь подхвачено карамзинское «<...>дерзали/Петру от сердца говорить...»

Позже Пушкин попытается воспроизвести схему *условно-свободных* взаимоотношений русского монарха и русского писателя, выстроенных Карамзиным и Александром I, попытается повторить поставленный Карамзиным исторический эксперимент и навязать Николаю I свой тип общения «на равных»; в этой перспективе цитация в «поздравительно-назидательных» стихах 1826—1827 годов имени карамзинской «придворной лирики» кажется неслучайной.

Столь же неслучайна — хотя исполнена прямо противоположного смысла — цитация официально-риторических стихов Жуковского в одном из самых горьких и величественных пушкинских стихотворений 1830-х годов — в «Полководце» (1835), где сквозь призму судьбы Барклая де Толли поэт смотрит на свой собственный, близящийся к завершению, путь.

У русского царя в чертогах есть палата:
 Она не золотом, не бархатом богата;
 Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
 Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
 Своєю кистию свободной и широкой
 Её разрисовал художник быстроокой. <...>
 Толпою тесною художник поместил
 Сюда начальников народных наших сил,
 Покрытых славою чудесного похода
 И вечной памятью двенадцатого года. <...>
 Но в сей толпе суровой
 Один меня влечёт всех больше. С думой новой
 Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
 С него моих очей. Чем долее гляжу,
 Тем более томим я грустию тяжёлой.
 Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
 Высоко лоснится, и, мнится, залегла
 Там грусть великая. <...>

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой. <...>
 Народ, таинственно спасаемый тобою,
 Ругался над твоей священной сединою.
 И тот, чей острый ум тебя и постигал,
 В угоду им тебя лукаво порицал... <...>
 И на полупути был должен наконец
 Безмолвно уступить и лавровый венец,
 И власть, и замысел, обдуманый глубоко, —
 И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Но недаром в первой строке пушкинского стихотворения будет сказано о русском царе, а в последней — о русском поэте: «У русского царя в чертогах есть палата...» — «...Поэта приведёт в восторг и умиление». Недаром и образ Барклая будет дан здесь не напрямую, а как бы в зеркале живописного портрета Доу, «своею кистию свободной и широкой» разрисовавшего палату «русского царя»: «Но Доу дал ему такое выраженье».

Дело здесь не только в параллели между Барклаем и Пушкиным (которого Доу также рисовал и которому посвящено стихотворение 1828 года «To Dawe, ESQ'»; на это обратила внимание Н. Н. Петрунина в очень важной для понимания пушкинского стихотворения статье: «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 278—305). Дело не только в том, что Доу — подобно и Барклаю, и Пушкину, которых он портретировал, — претерпел монаршие гонения (см.: Макаров В. К. Дж. Доу в России // Труды

Отдела Западноевропейского искусства. М., 1940. Т. 1. С. 178—188). Дело ещё и в том, что смысловой перекрёсток «Полководца» образован темами власти и неподвластности общему мнению, искусства и внутренней независимости. И в центре его стоят образы Поэта и Царя, Полководца и Художника.

Пушкин жёстко упрекнёт неназванного им военачальника за «уступку» голосу «черни дикой», ругавшейся над «священной сединою» Полководца:

И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...

М. И. Гиллельсон предположил, что здесь речь идёт прежде всего о генерале Ермолове, который прекрасно понимал правоту Барклая, но на совете в Филях лукаво проголосовал против плана оставления Москвы и активно участвовал в интригах против славного воина (см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 318—319). Но, во-первых, у Пушкина местоимение *тот* в данном случае не указывает на конкретное лицо, а, по правилам риторического обобщения, подразумевает «всякого», «любого», кто совершал или мог совершать подобное. Во-вторых же, несомненно, что пушкинская строка метит сначала в царя, Александра I, а уж потом в его подданных. Это за Александром Пушкин закрепил эпитет *лукавый* («Властитель слабый и лукавый...»); это он порицал Барклая в угоду «черни дикой» — Ермолов делал то же самое в угоду царю, самому себе и своей партии; это к нему Барклай апеллировал, борясь за свою репутацию. (О перипетиях борьбы см.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай//Звезда. 1993. № 8. С. 138—183). И, в конце концов, недаром в первой же строке «Полководца» заявлена «царская» тема.

Но не только Царю будет брошен упрёк. В пространстве «Полководца» тенью промелькнёт ещё один — неназванный — «отрицательный персонаж». Понять это можно, лишь положив текст «Полководца» рядом с его несомненным источником — посвящённым Кутузову стихотворением Василия Жуковского «Вождю победителей» (1812; цит. по: Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 3 т. Пг., 1918. Т. 1. С. 114). Стихотворением, в котором — точно так же, как в «Певце во стане русских воинов» — имя Барклая было подвёргнуто постыдной фигуре умолчания.

Что же делает Пушкин? Он последовательно изымает из посвящения «Вождю победителей» похвальные риторические формулы, полностью отвечавшие требованиям официального канона, и по принципу контраста демонстративно переносит их с Кутузова на Барклая.

Если Жуковский писал:

О вождь славян, дерзнут ли робки струны
Тебе хвалу в сей славный час бряцать?
<...> Я зрел, как ты, впреди своих дружин,
В кругу вождей, сопутствуем громами,
Как Божий гнев, шёл грозно за врагами!
<...> О сколь тебе завидный жребий дан! —

то Пушкин, слегка видоизменяя ритмический рисунок и «близко к тексту» воспроизводя стилевые обороты, полностью меняет смысловые ориентиры:

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принёс земле, тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шёл один ты с мыслию великой <...>

Если Жуковский, говоря о Наполеоне, восклицал: «О замыслы! о, неба суд ужасной! О хищный враг!.. — и труд толиких лет», — то Пушкин, пользуясь устойчивой связью между темой рокового одиночества и наполеоновской темой, «передоверяет» эту характеристику Барклаю: «И на полупути был должен наконец/Безмолвно уступить и лавровый венец,/И власть, и замысел, обдуманый глубоко...»

Если Жуковского восхищала заслуженно-счастливая участь старца Кутузова:

Посол судьбы, явился ты полкам, —
И пред твоей священной сединою
Безумная гордыня пала в прах, —

то Пушкин как бы уподобляет Барклая Моисею, выводящему Израиль из пустыни и терпящему несправедливый ропот:

Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

И главный пункт поэтического спора — финал «Полководца». Пушкин даже подхватывает итоговую рифму Жуковского, чтобы усилить эффект смыслового противоборства с ним и превратить восхищённое славословие в обвинительное заключение поэту, изменившему долгу внутренней свободы ради соучастия в лукавых делах земной власти и убления «черни дикой».

На пиршествах, в спокойствии семей,
Пред алтарём, в обители царей,
Везде, о вождь, тебе благословенье;
Тебя предаст потомству песнопенье.

(Жуковский)

Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и умиление!

(Пушкин)

Что же до самой «земной власти» и внимаемого ею гласа «черни», то, заводя речь об этом, Пушкин припоминает ещё одно «официальное» сочинение Жуковского: «Императору Александру» (1814), и тут же ставит лыко в строку. Жуковский, в полном согласии с государственной мифологией, восхваляет мудрость монарха, призвавшего Кутузова: «Очами твёрдыми сей ужас пронизал, / И в сердце Промысла судьбу свою читал». Что на это отвечает Пушкин, мы помним: «И тот, чей острый ум тебя и постигал, / В угоду им тебя лукаво порицал...» А слова осуждения, произносимые Жуковским по адресу галльского народа, —

И невнимательны, с беспечной слепотой,
В любви к отечеству, ко славе, к вере хладны,
Лишь к наслаждениям одной минуты жадны,
Под наклонившихся престолов царских тень,
Как в неприступную для бурь и бедствий сень
Народы ликовать стекались толпами!... —

он сначала повторяет применительно к народу—русскому, а затем вообще переадресовывает жалкому «роду людей», достойному слёз и смеха...

Так уравниены между собою лукавый Царь, ради угождения духу века сего пожертвовавший добрым именем славного полководца, и лукавый сочинитель, умолчавший об этом «пожертвовании» и подыгравший Царю. А в некоей вечной перспективе, в перспективе истины, в пространстве искусства, совершенно по-иному уравниены Полководец, который был принесён в жертву; Художник, что эту жертвенность Полководца постиг, дал ей незабываемый образ, и — в каком-то смысле — её разделил; Поэт, именно в царских чертогах, в «обители царей» сопереживший с Художником образ трагедии, а с Полководцем — саму трагедию его одинокого величия.

ПОВТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»

А. И. МОИСЕЕВ,
доктор филологических наук

Характерной и весьма примечательной чертой (и особенностью) авторского слова А. С. Пушкина в его трагедии «Борис Годунов» является повторная информация, то есть повтор того, о чем в той или иной форме уже сообщалось. Так, дважды говорится о том, что Григорий (далее по тексту он — Григорий Отрепьев, Гришка, Самозванец, Лжедмитрий) *ровесник* царевича Димитрия (последнего сына царя Ивана Грозного), убитого в 1591 году в Угличе. Об этом Григорию сообщает сначала Пимен: «... он был бы твой ровесник», затем — Злой Чернец: «Ты царевичу ровесник...» (правда, в сцене в печатную редакцию трагедии не вошедшей). Теоретически такая информация может быть полной, буквальной, но обычно она вариантна (дословное повторение создаст нежелательное однообразие). В приведённых примерах безвариантно только центральное слово (*ровесник*), а его контекст — разнится, как в лексическом, так и в синтаксическом отношении (*он тебе — ты царевичу*).

Повторная информация может быть явной (эксплицитной), как в только что приведённом примере, и скрытой (имплицитной), парафрастической. Так, Борис Годунов характеризуется Шуйским и Гаврилой Пушкиным, в частности, словами «татарин» и «пришелец»: «Вчерашний раб, *татарин*, зять Малюты...»; «Мир ведаёт, сколь много вы терпели/Под властью жестокого *пришельца*...»

Иногда информация даётся лишь намеком, поскольку ей предшествовало развёрнутое сообщение: «Князь Воротынский (*останавливая Шуйского*). Ты угадал. **Шуйский**. А что? Воротынский. Да, здесь, наемни,/Ты помнишь? **Шуйский**. Нет, не помню ничего. Воротынский. <...> Ты говорил... **Шуйский**. Теперь не время помнить,/Советую порой и забывать». О чем «наемни» говорил Шуйский, им обоим хорошо известно, и оттого вслух это не произносится. Да и что было распространяться, когда совсем недавно (в первой сцене) Шуйский прозорливо заметил:

Народ ещё повоет да поплачет,
Борис ещё поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей

Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.

Ср. далее. Авторская ремарка: «Народ (*на коленях. Вой и плач*)»; реплики действующих лиц: «Один [из народа]. Неумолим! <...> Его страшит сияние престола; Третий. Всё ещё/Упрямится; однако есть надежда; Народ. Венец за ним! он царь! он согласился!/Борис наш царь!; Пушкин. <...> Он правит нами,/Как царь Иван...»

Количество повторений не имеет каких-либо теоретически исчислимых ограничений, пределы устанавливаются чувством меры: восемь-десять повторений, видимо, нарушили бы эту меру. В большинстве случаев встречаются не более двух-трёх повторений. Например, о грамотности Григория (Отрепьева) сообщается трижды: «Пимен. Брат Григорий,/Ты грамотой свой разум просветил,/Тебе свой труд передаю; Игумен (патриарху). <...> И был он весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым; Пристав. Кто здесь грамотный? Григорий (*выступает вперед*). Я грамотный».

Четырежды в трагедии сказано о том, что Самозванец был слугой у Вишневецкого: «Пушкин (Шуйскому). Известно то, что он слугою был/У Вишневецкого; Рузя (Марине). А всё ж он был прошедшею зимой/У Вишневецкого слугой; Вишневецкий. Да, чудеса... и думал ли ты, Мнишек,/Что мой слуга взойдёт на трон московский?; Марина (Самозванцу). Дивлюся: как перед моим отцом/Из дружбы ты доселе не открылся <...> Или ещё пред паном Вишневецким/Из верного усердия слуги».

Многократно сообщается о побеге Гришки Отрепьева. Об этом говорит он сам: «Нет, не вытерплю!.. Чрез ограду да бегом... Поминай как звали» и «И наконец из келии бежал <...> Явился к вам; Димитрием назвался». Об этом говорит в Чудовом монастыре Патриарх («И он убежал, отец игумен?») с Игуменом («Убежал, святой владыко. Вот уж тому третий день»); Хозяйка корчмы («Кто-то бежал из Москвы...»), об этом упоминается и в царском указе: «А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской...» Обращает на себя внимание варьирование однокоренных глаголов: бежал — убежал — отбежал.

Не всякий повтор, однако, содержит повторную информацию. Среди повторов на лексическом уровне (повторы звуков, слогов и даже морфем: ЗААлеть, каССа, ПО-ПО-вна, ВЕК-о-ВЕЧ-ный — вообще не имеют смысловой информации) можно выделить: «подхватывание» слов, развитие темы, лейтмотив, но их нельзя причислить к повторной информации.

Повторы-подхватывания в «Борисе Годунове» немногочисленны. Этот прием реализуется, в частности, в сцене «Кремлевские палаты», в разговоре двух царедворцев:

Воротынский. Ведь Шуйский, Воротынский.../Легко сказать, природные князья.

Шуйский. Природные, и Рюриковой крови.

Неоднократно «подхватывание» проявляется в напряжённой сцене Марины и Самозванца, в сцене холодного расчёта и ущемлённого самолюбия:

Марина. <...> А Годунов свои приемлет меры...

Самозванец. Что Годунов? Во власти ли Бориса/Твоя любовь...

И следом:

Марина. Стыдись... Тебе твой сан дороже должен быть/Всех радостей, всех обольщений жизни...

Самозванец. Не мучь меня, прелестная Марина,/Не говори, что сан, а не меня/Избрала ты.

Лейтмотив в его «чистом» виде, понимаемый как «основная мысль, неоднократно повторяемая и подчёркиваемая», в тексте пушкинской трагедии, кажется, не представлен. С определённой долей вероятности и условности лейтмотивной можно, пожалуй, считать тему «Царь Борис — цареубийца»:

Пимен. Прогневали мы Бога, согрешили:/Владыкою себе цареубийцу/Мы нарекли;

Самозванец. Но пусть мой грех падёт не на меня,/А на тебя, Борис-цареубийца!;

Юродивый (Царю). Борис, Борис! Николку дети обижают. <...> Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Строго говоря, это не лейтмотив, а скорее развитие темы, правда, весьма существенной для повествования. Развитие («разработку») другой пушкинской темы более отчетливо показывает пример, который можно озаглавить «Царь Борис и казни»:

Пушкин (Шуйскому). Что пользы в том, что явных казней нет;

Царь (Шуйскому). Но если ты теперь/Со мной хитришь, то головою сына/Клянусь — тебя постигнет злая казнь;

Царь (в Думе). Предупредить желал бы казни и,/Но чем и как?;

Пленник (Самозванцу). Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты;

Царь (Басманову). Лишь строгостью мы можем неусыпной/Сдержать народ. <...> Грабь и казни — тебе не будет хуже;

Царь (сыну). Я ныне должен был/Восстановить опалы, казни — можешь/Их отменить.

Развитие этой темы характеризуется от сцены к сцене определённой градацией: казней нет — угроза казни (одному человеку) — угроза казней (вообще) — казни восстановлены — казни каждый день — оправдание (философия) казней — казни как данность. При повторной же информации эмоционально-смысловая значимость сообщаемого остаётся неизменной. Может измениться

лишь отношение к ней (см. пример «Самозванец был слугой у Вишневецкого»), но не её содержание.

Это различие особенно отчётливо проявляется, когда какое-либо ключевое слово входит в состав повторной информации и одновременно служит развитию темы. Таким, в частности, в приведенном примере является слово «казнь». Возьмем три реплики с этим словом:

Шуйский (Воротынский). Не хвастаюсь, а в случае, конечно, /*Никая казнь* меня не устроит;

Царь (Шуйскому). Но если ты теперь /*Со мной хитришь* <...> тебя постигнет злая *казнь*;

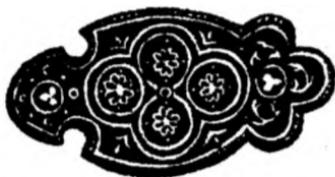
Шуйский (Царю). Не *казнь* страшна; страшна твоя немилость.

Вторая реплика (*тебя постигнет злая казнь*) — звено в развитии темы «Царь Борис и казни», и она уже была приведена в цепи фрагментов, развивающих эту тему. Первая и третья реплики составляют повторную информацию «Шуйский не трус (не страшится казни)»: *Никая казнь меня не устроит* — *Казнь не страшна*. Третья реплика, взаимодействуя со второй, дает «подхватывание» ключевого слова: *Тебя постигнет злая казнь* — *Не казнь страшна*.

Нечто подобное, но на более узком текстовом пространстве, наблюдаем и в следующем примере (сцена «Царские палаты», тема «Царь Борис и кудесники»): **Первый** стольник. Где государь? **Второй**. В своей опочивальне. /*Он заперся с каким-то колдуном*. **Первый**. Так, вот его любимая беседа: /*Кудесники, гадатели, колдуны*. — /*Все ворожит, что красная невеста*. Далее оба стольника, в строгом соответствии с авторской ремаркой, *уходят* и появляется Царь со своим знаменитым монологом «Достиг я высшей власти...», где, в частности, содержатся и следующие строки: «Напрасно мне кудесники сулят /*Дни долгие, дни власти безмятежной* — /*Ни власть, ни жизнь меня не веселят*; /*Предчувствую небесный гром и горе*».

В прозвучавших репликах стольников содержится и повторная информация, и развитие темы: «Вот его любимая беседа: /*Кудесники, гадатели, колдуны*, — /*Всё ворожит, что красная невеста*» — «Напрасно мне кудесники сулят»; есть здесь и «подхватывание»: «Он заперся с каким-то колдуном» — «Вот его любимая беседа: /*Кудесники, гадатели, колдуны*».

Если выйти за рамки текста «Бориса Годунова», то можно отметить и другие виды повторов: «Фонтан любви, фонтан живой! <...> Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! /*Журчи, журчи свою мне быть...*» («Фонтану Бахчисарайского дворца»). Возникают вопросы: каково назначение, какова роль и функция таких повторов, прежде всего — повторной информации, как представлены они в других произведениях Пушкина и в произведениях других авторов? Но это уже новая тема.



Имена собственные в «Хозяйке» Ф. М. Достоевского

О. Г. ДИЛАКТОРСКАЯ,
кандидат филологических наук

Образ церкви в этой петербургской повести, на наш взгляд, один из центральных. Совсем неслучайно там происходит первая встреча главных героев, которая, по мысли автора, определит весь дальнейший ход сюжетного развития, основные идеи произведения. Забредший сюда Ордынов с любопытством наблюдает, как перед главным образом храма падает ниц Катерина, безутешно рыдая, а старик Мурин накрывает её голову концом покрывала, «висевшего у подножия иконы» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 268; далее — только том и стр.). Из текста становится известным, что церковь эта названа по имени чудотворной иконы Божьей матери.

О какой именно церкви идёт речь у Достоевского, в каком месте Петербурга она расположена, какова роль этого топонима в художественной ткани повествования?

Просмотр материалов, рассказывающих о чудотворных иконах с изображением Богородицы и о построенных в её честь в России X—XIX веков храмах (см., в частности: Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к Ней ... М., 1904), помогает установить, где именно завязывается действие «Хозяйки». В Петербурге в 40-е годы XIX века было четыре общедоступных храма, именуемых по главному образу: Казанский собор, Знаменская церковь на Невском проспекте, церковь Богородицы «Всех скорбящих радости» в Литейной части, на углу Воскресенской набережной и Воскресенского проспекта, и Владимирская церковь в Московской части, близ Кузнечного рынка (см.: Пушкарёв И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843. С. 266; Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга. СПб., 1849. С. 186).

В поисках подходящего недорогого жилья Ордынов бродит по

петербургским переулком, «высматривая все ярлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, полюднее и *капитальнее*» (1, 264; курсив автора). Герой Достоевского заходит «в один отдалённый от центра города конец Петербурга», где «потянулись длинные, жёлтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избёнки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами». И далее сказано: «Одним *длинным переулком* (курсив наш. — О. Д.) он вышел на площадку, где стояла приходская церковь» (1, 267). Как видим, ни Казанский собор, ни Знаменскую церковь на Невском нельзя соотносить с храмом, на который указывает писатель. Остаётся церковь Богородицы «Всех скорбящих радости» и Владимирская. Кстати сказать, обе церкви приходские.

Скорбященская церковь, несмотря на свою отдалённость от центра, расположена в престижном районе города, в особенно привилегированном северо-западном участке Литейной части, где селилась знать Петербурга и потомственное дворянство. Навряд ли Ордынов забрёл в этот район, хотя здесь, кроме богатых особняков, находились Литейный двор и водочный завод, стоящий прямо наперекресток от церкви, и постоянный полицейский пост Воскресенского перевоза (Санкт-Петербург. Исследования по истории, топографии и статистике. СПб., 1870. Т. 2. С. 135), что тоже важно при определении местоположения церкви, упомянутой в тексте Достоевского.

Ордынов, поражённый загадочным поведением в храме молодой женщины и странного старика, последовал за ними и видел, как они «вошли в большую широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к *заставе* (курсив наш. — О. Д.), и повернули из неё в узкий, длинный переулок (...), упирившийся в огромную почерневшую стену четырёхэтажного капитального дома, сквозными воротами которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную улицу» (1, 268). Очевидно, что писатель указывает на приметы, с помощью которых можно с точностью установить, о какой церкви идёт речь в его повести. Во-первых, церковь удалена от центра города и стоит «на площадке». Во-вторых, к ней можно подойти длинным переулком. В-третьих, широкая большая улица близости от церкви ведёт прямо к заставе. В-четвёртых, где-то рядом находятся «красные» здания фабрик, с «длинными трубами». Несомненно, Достоевский имеет в виду Владимирскую приходскую церковь, к которой, если подходить со стороны Лиговки, можно пройти длинным Кузнечным переулком, недалеко, за поворотом от неё, начинается Загородный проспект, который приводит к Московской заставе. В этой связи легко понять, что глушь, «где уже не было города и где расстиралось пожелтевшее поле» (1, 270), куда бессоз-

нательно зашёл герой, — окраина Каретной части (Пушкарёв И. Указ. соч. С. 448, 449), в которой проживали крестьяне и промышленный народ и где находились императорские зеркальный и стеклянный заводы, а также гончарные, литейные и дробяные; мимо них и лежал путь Ордынова к церквям.

Как видим, писатель использует натуралистические подробности, столь характерные для городского очерка, помещает своих героев по законам натуральной школы в обстановку вполне узнаваемую, документально подтверждённую. Его герои — жители Московской части, где обычно селились личные дворяне, купцы, мещане и прочий незнатный люд. Квартиры здесь, как правило, «дешевле и просторнее, хозяйки менее бранчливы и добрее, чем в центре города, оттого-то бессемейные люди преимущественно стараются приискывать себе <...> помещение *на хлебах*» (Там же. С. 75). Ордынов, видимо, из третьего участка Московской части перебрался во второй. (Раньше этот герой Достоевского снимал квартиру у Домны Саввишны, которую хорошо знал полицейский чиновник Ярослав Ильич, персонаж рассказа «Господин Прохарчин», а теперь и повести «Хозяйка». Действие в рассказе происходит на территории третьего участка Московской части.) В третьем обычно селился разнородный народец, а во втором — преимущественно купечество. И домовладелец Кошмаров, и Мурин, и Катерина — из купеческой среды. Случайно ли Достоевский своих героев определяет жителями Московской части?

Странным образом пространство Петербурга как бы размыкается, предполагает выход к Москве и дальше — к Волге, к России. Мурин, например, рассказывая о причинах болезни Катерины, вдруг проронит: «её хи-хир-руг-гичкой совет *на Москве* смотрел...» (1, 313; курсив наш. — О. Д.). Топоним Москвы играет в повести, думается, немаловажную роль.

Например, церковь Владимирской Божьей матери расположена в Московской части совершенно закономерно. Известно, что главный Успенский собор в Москве именуется «от иконы Владимирской Божьей Матери» «домом Пресвятыя Богородицы» (Снегирёв И. М. Памятники московской древности, с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы. М., 1842—1845. С. 14). Эта икона всегда имела государственное значение высшей национальной святыни, о чём не мог не знать Достоевский. В Москве приходская церковь иконы Владимирской Божьей матери находилась одна у Никольских ворот и другая в Нижних Садовниках в Замоскворечье (Снегирёв И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. М., 1865. Т. 1. С. 40, 75). Здесь же, кстати, неподалёку, располагалась на Ордынке и приходская церковь Богородицы «Всех скорбящих радости», копия с главной иконы которой была привезена в 1711 году в Петербург, в честь неё и был

воздвигнут вышеупомянутый храм на углу Воскресенской набережной и Воскресенского проспекта.

Если оглядеть пространство от Петербурга к Москве, эта пара церквей как бы смотрит друг на друга, является «двойниками». Думается, что это не случайное совпадение. Писатель сознательно выбрал место действия своей петербургской повести. Важно подчеркнуть, что топоним церкви раскрывается, не только как знак Богородицы, что уже само по себе значительно, например, для понимания образа Катерины в повести, всего круга проблем, связанных с народной идеей, с огромным миром России, с тем, что образ Божьей матери выступает в русском религиозном сознании как образ святой, покровительствующей России и представляющей её (Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к Ней... С. 267). Но именно как *В л а д и м и р с к а я ц е р к о в ь*, у которой было два придела: святого Иоанна Дамаскина, христианской вероучителя, и пророка Илии. В повести под покровом верховной святой здесь встретились: Ордын, учёный, занимающийся историей церкви, Илья Мурин и Катерина. Их встреча как бы освящена высшим символическим смыслом.

К слову сказать, писатель выбрал и особое время для своей петербургской повести: октябрь, «богородичный» месяц (первое октября — Покров, 22-е — Казанской иконы Божьей матери, 24-е — иконы Богородицы «Всех скорбящих радости» — Старообрядческий церковный календарь. Екатеринбург, 1994. С. 40). Можно возразить: престольный праздник иконы Владимирской Божьей матери отмечается 21 мая, 23 июня (О жизни православных святых, иконах и праздниках: согласно церковному преданию. Л., 1991). Однако, можно понять Достоевского: он же писал «петербургскую повесть», пространство которой чревато простудами и болезнями, пронизано холодом и дождями, угрожает хлюпающей под ногами водой и грязью, а не «сентиментальный роман», поэтически освещённый белыми ночами.

Как видим, писатель был чрезвычайно приметлив. Сравнивая две столицы, он не мог не обратить внимание на то, что нередко их архитектурные сооружения, ансамбли, статуи, триумфальные арки как бы «аукаются», перекликаются, дублируют друг друга (например, Мариинская больница для бедных на Божедомке в Москве, построенная И. Желярди, и точно такая же — в Петербурге на Литейном проспекте). Эта наблюдательность Достоевского, как было отмечено в научной литературе, проявилась уже в «Двойнике», «петербургской поэме», открытой широкому русскому миру, который простирается к Москве от Петербурга (Об этом см.: Федоров Г. Петербург «Двойника» // Знание — сила. 1974. № 5; Топоров В. Н. Ещё раз об «умышленности» Достоевского // Finitus duodecim

Lustris. Таллин, 1982). В «Хозяйке», написанной вслед за «Двойником», утверждается тот же принцип.

Топоним Москвы, думается, сказывается и в имени героя — Ордынов. Пояснение, которое даёт, например, В. Н. Захаров: «намёк на „татарское“ происхождение его предков, перешедших на русскую службу» (Захаров В. Н. Система жанров Достоевского. Л., 1985. С. 95), — кажется в значительной мере произвольным, вызывающим ничем не подтверждённые ассоциации. В повести нигде не подчёркивается «татарское» происхождение предков героя, тем более не говорится об их переходе на русскую службу. Старинный род Ордынова не указан в древних дворянских книгах или справочниках русских фамилий (см.: Унбегаун Б. О. Русские фамилии. М., 1989). Остаётся предположить, что фамилия героя имеет чисто литературное происхождение, подобное тому, как были образованы фамилии Онегин или Печорин, в основу которых легли географические, топонимические признаки.

В этом случае уместнее обратить внимание на то, что писатель в повести сам расставляет «стрелки», указывающие путь его нередко скрытой мысли. «Странная вещь! непонятная вещь!» — символично выразился В. Г. Белинский о «Хозяйке» в «Современнике» (1848. № 3. Отд. III. С. 39), вкладывая в своё высказывание категоричное неприятие её и горечь обманутых надежд на гений Достоевского. А в письме П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 года критик писал ещё более резко: «Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 12. С. 467). «Хозяйка» действительно «странная» и «непонятная вещь», если не замечать авторских указателей. Очевидно, например, учитывая топонимические указатели, считать, что фамилия героя происходит не от слова *орда*, а от слова *Ордынка*: он не Ордин (Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979. С. 250), а Ордынов. Именно «Ордынов», а не «Ордынцев» (Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 232) или «Ордынкин», «Ордынков». Достоевский «сократил» уменьшительный суффикс *-к-*, сложив фамилию на благородный дворянский, а не на плебейский, мещанский манер. Его герой Ордынов — петербуржец с «московской» фамилией.

Топонимы Москвы и топонимы Петербурга, как убеждает текст повести, позволяют понять порой неявные смыслы. Место встречи героев — церковь иконы Владимирской Божьей матери в Московской части Петербурга — открывает возможность рассмотреть связи повести в новых ракурсах, уточнить авторские идеи, уловить смысловые нюансы.



«СИМФОНИЯ СЕРЫХ ТОНОВ»

О поэзии Исаака Савранского

Н. А. ФАТЕЕВА,

кандидат филологических наук

Есть поэты Вечности, есть поэты Времени. Исаак Савранский (1937—1993) — поэт времени, своего времени. Его молодость связана с шестидесятыми годами, с ссылкой в Сибирь за поддержку «Доктора Живаго» Пастернака, зрелость — с «застойными» семидесятыми; далее жизнь за рубежом России — в Израиле, оторванность от корней культуры, на которой был воспитан, от русского языка и стремление найти новые корни, новую Родину. И, наконец, преждевременная смерть как ответ на невозможность найти себя ни среди «своих», ни среди «чужих».

В 1994 году в Израиле была опубликована книга И. Савранского «Глагол», в которую вошли его стихи и три статьи-размышления о современной литературе и философии. То, о чем И. Савранский говорит в критических статьях, посвященных эмигрировавшим поэтам и писателям, пишущим на русском языке в Израиле, верно для него самого. И его книга, и анализируемые им романы Е. Бауха обнаруживают «специфические особенности сознания, мышления и действия российского еврея-интеллекта, человека большой книжной культуры, эстетически ориентированного» (Савранский И. Глагол. Б/м, 1994. С. 171).

В своем творчестве И. Савранский стремится следовать высоким «образцам» (Пушкин, Маяковский, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Бродский), причем в те годы, когда произносить вслух некоторые из этих имен было небезопасно. Но как именно следовать «образцам» — это уже зависит от одаренности и собственного поэтического вкуса. Надо сразу сказать, что И. Савранский «полистиличен»: он не избежал влияния «штампов» советской эпохи, которые затем в 1970—1980 годах стали эксплуатироваться поэтическим «концептуализмом» и все более превращались в «псев-

досмыслы». Нередко его стихотворения представляют собой причудливую смесь поэтизмов, аллюзий к высокому поэтическому смыслу с газетными штампами и жаргонной лексикой. Так, в «Монологе еврейского интеллигента» (1968) в отношении рифмы и паронимической аттракции вступают глаголы *пропоют* и *пропьют*, а определение в *дугу косые*, относящееся к русским пьянчугам, которые «пропивают» Россию, соседствует с *трубами архангелов*, поющими в веках осанну «еврейским интеллигентам». Тут дело не в самом соседстве *пера* и *вина*, не в паронимии *петь* — *пить* (ср. также его «Балладу» (1958), где поэт признаётся: «Задолго до смерти встретил смерть я свою./Я об этом пою. Злобно пью и пою»), вдохновлявших многих поэтов (ср., например, по контрасту, стихотворение «Пей и пиши, непрерывным патрулем...» Б. Пастернака), и не в соединении разных пластов лексики, а в смещении самой функции поэзии, которая превратилась, с одной стороны, в полупублицистику, с другой, — в маленькую «брешь бреда», сквозь которую удавалось выйти в великое пространство русской и мировой культуры (ср. главу «Сквозь брешь бреда» в поэме «Смерть Пастернака» И. Савранского). Быть может, в этом как раз и выразилась эпоха, стремившаяся освободить всех нас от «памяти слова» и «памяти культуры» (к счастью, безуспешно).

И, видимо, поэтому в удачной, в целом, поэме «Смерть Пастернака» (1960—1962) само имя поэта попадает в звуковой и концептуальный ряд контрастных сближений: с одной стороны, «скупые», «пасторали», «сны» Пастернака, который «простирает руки, как Христос», и проходит «строй страданий» между глаголами *простят* и *постят*, с другой, — прекрасные «Пастернаковы глаза» (М. Цветаева) вдруг становятся у И. Савранского *сексопильными*, *гончими очами*, *прожесточно обшаривающими землю*. Надо сказать, что и стройная композиция поэмы, отражающая «мир теней» души Пастернака в близких ему музыкальных координатах, разбивается о такие строки И. Савранского, как «хор харь», «Как нас матёро мордовали!» и слова, вложенные в уста Мейерхольда: «Я кончил дни свои в концлагере,/как многие из нашей бражки». Прямо противоречит стилистике и поэтике Пастернака и группа под названием «эскаорт любимых Пастернака». Все эти «лагеризмы» и «советизмы» возникают в поэме И. Савранского и на фоне эпиграфа из Мандельштама к части «Голоса». И думается: ведь мог же Осип Эмилевич вложить свои представления о «черном бархате советской ночи» и «всемирной пустоты» в строки, рифмующиеся с «Всё поют блаженных жен родные очи,/Всё цветут бессмертные цветы». И смог же Борис Леонидович в конце концов преодолеть «глухоту вселенной» («Определение поэзии») и услышать «далекий отголосок» другого «хора»: «природы, мира, тайника вселенной». Конечно, сам «эпилог» романа «Доктор Живаго» повествует нам о горькой

судьбе дочери Живаго (умирающего среди «бессмертных цветов») и Лары («блаженной жены», погибшей в одном из лагерей): она не помнит и не знает своих родителей и их культуры. Но роман кончается всё же не так апокалиптично: читая тетрадь стихов Юрия Живаго, которыми завершается текст романа, можно смотреть с пастернаковским «умиленным спокойствием» на «детей страшных лет России», на «святой город» Москву, и на всю землю. Когда же читаешь поэму «Смерть Пастернака» и другие произведения И. Савранского, это умиление проходит.

Один из разделов книги «Глагол», внешнее заглавие которой по замыслу соотносится с «Пророком» Пушкина (вспомним: «Глаголом жги сердца людей») называется «Morbus Rossica», что переводится как «русская болезнь». Автором эта болезнь признаётся «неизлечимой» (ср. стихотворения «Нам не уйти», «Пророчество», «Столица» и др.). И действительно, для человека, у которого жизнь — «печальный симбиоз тех бед и бдений», «страстей и страхов» («Узоры на ковре»), исход не может быть счастливым. Даже любовь у И. Савранского не порождает светлых ассоциаций, и почти все стихотворения в разделе «Любовь российского еврея» прежде всего говорят о «пошлой прозе» («Тае»), а не о поэзии этого великого чувства. Эту «прозу» не превращают в поэзию даже модные «секс-этюды». Правда, в этом разделе, как и в других разделах книги, можно найти хорошие стихи, например, «Комната» (1964):

О, друг мой, комната моя,
вместилище щемящих душу бдений,
сладчайших и горчайших вдохновений —
случайных слепков — с бытия.

Вот он, свихнувшийся на книгах, стол —
свидетель всех моих сомнений,
проклюнувшихся вспышек — озарений,
похожих чем-то на любовный стон!..

И нам кажется, что вся книга «Глагол» распадается не на 6 разделов, а на стихи, зажигающие и не зажигающие «сердца людей», или проще, хорошие и плохие. Хорошие стихи — это те, которые основаны на действительно пережитых ощущениях и глубоких размышлениях о сущности поэзии. К ним мы относим такие стихотворения, как «Сон в снегу», «Осипу Манделъштаму», «Микроевангелье» (в котором прежде всего удачно найдено заглавие), «Рощи осенние», «Осенний эскиз», «Имена» (с аллюзиями к стихам О. Манделъштама, прежде всего «Стихам о неизвестном солдате»), «Март», «Подобья»; прекрасны почти все ранние стихи из раздела «Сибирские напевы», в которых оживает природа и вырываются на волю (несмотря на «сибирскую ссылку») простые человеческие ощущения: ср. «Тайга похожа на мотив/той песни дикой и приволь-

ной, / что за ученостью забыв, / мы тщетно тужимся припомнить» («Осенняя тайга»). «Живая жизнь» превращает «темный терем стихотворения» в «светлый терем», и тогда все поэтические приемы И. Савранского обретают первоначальную легкость и звучность.

Вслушаемся, например, в «легко-звучные» строки стихотворения «Тебе» (1970):

Как я люблю тебя? — как Л,
как этот звук летуче летний,
как сонмище ленивых лезвий,
как бредущие щеки — Р.

А ты? — ты любишь гладкость далей
и зашифрованность деталей.

У И. Савранского немало удачных находок в технике построения «тесноты стиховых рядов», и отдельные его строки говорят о том, что поэт в наиболее проникновенные мгновения прикасается к «точности тайн» (эта формула Пастернака близка И. Савранскому). Так, удивительно изобразительно точен перечислительный ряд в стихотворении «Корявый вечер бил крылами фар автомобильных...» («И были наши сны, шаги и мысли перепутаны — / созвездья и глаза, и губы, и вокзалы»), где уже одна смежность слов рождает их образность; в «Улетали в космос корабли...» (1970) в конструкции стиха становится иконичной сама идея многоступенчатого полета, из которого не возвращаются:

Улетали в космос корабли,
голуби в надзвездные метели
улетели —
уле
уле
тели,
но домой они, достигнув цели,
возвратиться не смогли.

По иронии судьбы, эта конструкция стала «эскизом жизни» поэта. «Эскиз жизни» — формулировка самого И. Савранского, которую он находит в стихотворении «Осенний эскиз» (1970). Первая строка этого стихотворения — *Симфония серых тонов* — может считаться цвето-музыкальной эмблемой всего творчества поэта, тем более что свою кандидатскую диссертацию, защищенную в России, он так и назвал: «Роль ассоциативности в словесном искусстве». В «Осеннем эскизе» трансформируется и иконическая метафора *груша — душа* из «Определения души» Пастернака («Спелой грушей в бурю слететь / Об одном нераздельном листе»), и эта трансформация сама по себе становится «эскизно»-символичной для всего поколения стихотворцев, пришедшего в 1960 годах на смену поэтам, веру-

ющим в «воскресение души» и в своих импровизациях «кормящим с руки» «клавишей стаю»:

Судьба, я еще не готов. Судьба, я еще не окончен.
 Я — жизни моей эскиз. Повис головою вниз.
 А сердце мое, судьба, уродливо-алая груша.
 Теперь понимаешь ты, какой это шаткий карниз,
 какой ненадежный карниз, какой бесконечно грустный?
 Симфонию серых тонов нам скорбная осень дарит.
 По клавишам сердца лениво дожди барабанят.

Таким образом, заглавие поэмы «Смерть Пастернака», которая написана в начале творческого пути И. Савранского, также становится символичным для всей его последующей поэзии, оказавшейся «между небом и землей».

Несмотря на явное следование «образцам», у И. Савранского немало удачных поэтических зарисовок, в которых происходит как содержательная, так и формальная реализация метафор. Таково стихотворение «Расплескалась любовь спозаранку...» (1971), где есенинские мотивы и «всхлипы тальянки» *рас-сы-па-ются* по всему тексту:

Расплескалась любовь спозаранку
 и по площади шастать пошла
 под визгливые всхлипы тальянки
 по-
 рас-
 сы-
 па-
 лась вдоль села...
 А село затонуло в сугробах.
 Лишь избенок кошачьи глаза
 пе-
 ре-
 марги-
 вают-
 ся робко,
 будто крестятся на образа.

Неудачны же все те стихи, которые оставляют впечатление или рассудочной неподлинности (таковы стихотворения «Я», «Пылай, седое одиночество...», «На душе изболевшейся траурно...» и др.), или мании величия автора («Я памятник себе воздвиг неординарный...»), или те, которые полны слишком «странной любви» (М. Лермонтов) к России («Россия любит их в гробу...»). Так, отрицательные эмоции и коннотации слов затопляют в принципе понятный каждому смысл стихотворения «Совиный совет» (1971), где уже в заглавии паронимически закодирована идея отворачивания к «совковому» образу жизни:

КАК ПОГИБЛА КНИГА

Николай Банников

Мне совестно, что я как будто всё о себе, но ведь это только так кажется...

Ч. Диккенс. «Наш общий друг»

Девять последних лет жизни Пастернака я был близко знаком с ним, работая как редактор его переводов, переписывался с ним, бывал у него дома и один и среди гостей многих званых его вечеров, которые он любил устраивать. Разница в возрасте в двадцать восемь лет диктовала в наших отношениях известные границы, и я не осмелился бы сказать, что мы были близкими друзьями. Но однажды в беседе, когда я передавал Пастернаку какой-то тягостный для меня разговор с каким-то лицом, Пастернак многозначительно спросил: «А вы сказали ему, что вы мой друг?»

Впервые мы соприкоснулись в 1951 году в работе над одно-томником Шекспира, в который входили трагедии, переведенные Пастернаком. Тогда мне даже пришлось самому переводить и вставлять, принаравливаясь к стилю Пастернака, в текст «Короля Генриха IV» слишком рискованные фривольные пассажи, потому что Борис Леонидович готовил «Короля Генриха IV» для Детгиза и, по-видимому, отсекал у Шекспира строки, непригодные для детского чтения. А когда шла корректура книги и, сверяя тексты перевода с английским подлинником, я обнаружил пропуски, Борис Леонидович лежал в Боткинской больнице с инфарктом и, естественно, ничего переводить не мог. Переведенные мною и уже вошедшие в корректуру вставки я читал ему позже, когда ему стало лучше, в той же больнице, и получил полнейшее одобрение. Он хохотал, выслушивая соленые остроты Шекспира, и придирался только к одному слову в этих моих вставках. С тех пор я стал считать себя серьезным переводчиком, а наши отношения с Борисом Леонидовичем приобрели дружескую теплоту.

Во времена «оттепели», при правлении Хрущева, когда произошла некоторая либерализация в умах издателей, Гослитиздат — ныне «Художественная литература» — включил в свой план сборник стихотворений Пастернака. По-видимому, поэт сразу задумался,

как строить и готовить эту книгу. И однажды в те дни он обратился ко мне с предложением: «Возьмитесь вы за ее составление». Дело в том, что уже целое десятилетие, после появления сборника стихов Пастернака, вышедшего в 1946 году под редакцией П. И. Чагина, собственно пастернаковских книг не печатали. Поэта поминали обычно лишь как переводчика. На литературу тогда отбрасывало свою тень дикое постановление о журнале «Звезда» и «Ленинград», яростный поход против Ахматовой и Зощенко. О поэзии Пастернака в прессе тех лет свидетельствовала лишь разгромная, грубая статья А. Суркова, напечатанная в марте 1947 года. И, думая о новом нечаянном издании своих стихов, Борис Леонидович был даже в растерянности. Он говорил, что все, что им написано, совершенно непохоже на господствующий ныне стиль в литературе, что он не знает, не чувствует, что теперь важно и интересно в его стихах новому поколению читателей. И он попросил у издательства разрешения на то, чтобы составление его поэтической книги было поручено мне. Я же, будучи тогда сотрудником Гослитиздата, потребовал от издательства заключить со мной на эту составительскую работу специальный договор. Я хорошо сознавал, как легко будет — без наличия договора — объявить меня, чуть что стрясется, и слугой, и приспешником Пастернака: такие обвинения в те времена сразу приобретали политический характер и были чреваты тяжелыми последствиями.

Договор со мной подписали. Я стал думать о конструкции книги (по договору был задан определенный объем), изучал все доступные мне издания пастернаковских стихотворений и поэм. И тотчас почувствовал, что к будущему сборнику непременно требуется какое-то предисловие. Ведь молодежь, например, не могла и знать тогда, кто такой Пастернак, не слыхала, жив он или умер, и как было объяснить ей то обстоятельство, что стихи у него столь непривычны для глаза и слуха. «Напишите предисловие вы», — сказал мне Борис Леонидович, когда я поделился с ним своими мыслями. Я наотрез отказался. «Хвалить вас в статье, как я хотел бы, мне не позволят, а бранить вас я не собираюсь», — так отвечал я Пастернаку на его вопрос: «Почему?» И однажды он повел меня в комнату заведующего редакцией Трегубова и там мы сообща, по моему предложению, наконец договорились, что страниц восемь машинописного текста Пастернак в качестве предисловия напишет о себе сам — где, в какой семье и когда он родился, где учился и т. д. Это уже давало бы читателю сборника какие-то ориентиры для восприятия его стихотворений и поэм.

Каково же было мое удивление, когда недели через полторы Борис Леонидович связался со мной по телефону и сообщил, что уже продвинулся в предисловии до сороковой страницы! Мне оставалось только пожелать ему успеха — расспрашивать о том, что он задумал

и почему так отклонился от нашего уговора, я не считал нужным. Через какое-то время Пастернак пригласил меня на дружеский пир в Переделкино, и там, на даче, в дневные часы, в обществе артистов Ливанова, Журавлёва и других своих друзей, прочел своё предисловие от начала до конца. Это застольное чтение заняло час или полтора: я увидел, какая прекрасная проза вышла у Пастернака в результате наших гослитовских переговоров. И уже не думал о предполагаемых восьми страницах — пусть будет в стихотворном сборнике это пространное предисловие, это великолепиие! Пастернак писал его в мае — июне 1956 года, и пока он его не закончил, рукопись книги, уже мною подготовленную, сдавать в производство было нельзя. Задержка эта, вероятно, сыграла свою роковую роль в судьбе сборника. Как показали будущие события, нам надо было торопиться...

Когда предисловие, отпечатанное на машинке, было мне доставлено, я обнаружил в нём выраженную мне благодарность поэта — за идею предисловия и за мысль написания цикла стихов «Когда разгуляется». Сердечный порыв Пастернака вызвал в издательстве шум и пересуды. Чтобы не дразнить гусей, я своей рукой сокращал в этих пастернаковских строчках горячие эпитеты, а главная редакция в издательстве полагала, что весь этот абзац надо вообще вычеркнуть. Я, конечно, пошёл бы ради продвижения сборника и на это, но Борис Леонидович самым решительным образом воспротивился вычёркиванию, и эти строки, после моей правки, были отправлены в типографию.

Борис Леонидович не вмешивался в мою составительскую работу. Он доверял моему вкусу. Лишь время от времени присылал мне редко печатавшиеся, а то и вовсе затерянные тексты, например, стихи для детей «Зверинец» и «Карусель», которых я прежде не знал. Мне предстояло определить конструкцию книги, сделать отбор стихотворений, выработать состав такого раздела как «Стихи разных лет», решить, будет ли другой раздел стихотворений называться «Земной простор» или «На ранних поездах», установить, пользуясь многими изданиями, наилучшие тексты. К весне 1956 года всё это было сделано, и 5 мая я поехал к Пастернаку на дачу, где мы утвердили состав сборника.

Но кроме этой стороны дела были ещё два непростых, подспудных обстоятельства, доставивших мне много душевных волнений и забот. Во-первых, мне казалось необходимым сдержать и умерить пыл Бориса Леонидовича, порывающегося исправить, заново переписать целые строфы старых, давно полюбившихся читателям, ставших классикой стихотворений. Ему хотелось переписать, переделать очень многое. Спустя десятилетия на выставке «Мир Пастернака» я видел его письмо к Варламу Шаламову. В нем говорилось о том, что он и согласился-то на новое издание своих стихов из-за того,

чтобы ещё и ещё поработать над ними. Противостоять ему в этом было нелегко, но я проявлял упорство и настоятельно просил ничего не менять. Пастернак ссылался на Пушкина — Пушкин, мол, правил свои стихотворения. Да, правил, отвечал я, единожды, при издании первого сборника. А вы, Борис Леонидович, в 1928 году очень основательно поправили ранее написанное — и этого вполне достаточно. Нельзя ломать то, что уже вошло в историю литературы. Невозможно дважды войти в одну и ту же воду. И какое это вызовет недоумение и огорчение у давних поклонников и знатоков Пастернака! Если вас что-то волнует из старых мотивов, пишите об этом новые стихи! Мы с редактором книги Стефаном Коляджиным даже собрали у меня на квартире для обсуждения этих дел маленькое совещание. Сидели за круглым столиком четверо: Борис Леонидович, Стефан Коляджин, весьма образованный сотрудник Гослитиздата Юрий Акимов и я. После горячих споров достигли соглашения, которое я в шутку называл «конкордатом». Соглашение сводилось к следующему: если я нахожу правку Бориса Леонидовича ухудшающей старый текст (а это случалось весьма часто), то правку отвергаю, и Борис Леонидович с этим не спорит, мирится. Если правка, на мой взгляд, текст ни улучшает, ни ухудшает, — я её тоже отвергаю. И только в том случае, если правка действительно хороша, я переносу её в рукопись или корректуру сборника.

Скрепя сердце Пастернак согласился с таким условием и никогда его не нарушал. У нас была даже заведена большая тетрадь, в которой мы, пересылая её друг другу, обменивались мнениями по каждому предлагаемому поэтом исправлению старых текстов. В левой части листа тетради, прибегая к разным цветам карандаша или чернил, писал он, в правой высказывал свои резоны я. Какой-либо ссоры или неприятного осадка в наших отношениях это не вызывало: всё кончалось к обоюдному согласию и удовольствию. Борис Леонидович проявил тут исключительную, незабываемую чуткость, доброту, желание идти навстречу и — редкостное трудолюбие!

Он превосходно переписал вторую строфу стихотворения «Мучкап» (из книги «Сестра моя — жизнь»), дал хороший вариант окончания «Высокой болезни» (старый его почему-то не устраивал). Мучился с переделкой третьей с конца строфы «Марбурга», придумав несколько вариантов. И долго выискивал замену последней строки в третьем четверостишии стихотворения «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...». Он хотел непременно истребить строку «И чёрных от пыли и бурь канапе». По-видимому, его раздражали именно эти «канапе», сопоставленные, без твердой логики, со святым писанием, а мне они нравились, я с ними давно свыкся. Три раза Борис Леонидович звонил мне, наверное, из дому, а не с дачи, где телефона не было, читая то один вариант этой строки, то другой: я

отвечал, что, по-моему, строка не годится. Только по четвертому телефонному звонку я не очень охотно согласился с вариантом: «Хотя его сызнава все перечти». Так это и пошло в сборник; в новейших изданиях составители вернулись к старым «канаве» и, пожалуй, верно сделали. Должен сказать, что, когда на протяжении двух дней Пастернак звонил и зачитывал очередной вариант этой строки (а я даже записывал их в тетрадочку) и сталкивался с моим несогласием, он сохранял полнейшее хладнокровие, нисколько не сердясь. Вероятно, и сам не чувствовал абсолютной убедительности в своих предложениях и твёрдо знал, что кривить душой я с ним не буду. Моя полная откровенность и прямота, по-видимому, ему импонировали.

В кропотливой работе над рукописью и корректурой мне удалось отстоять прежний текст стихотворения «Степь».

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колелет, относит, толкает.

Эту, исполненную экспрессии и динамики строфу Пастернак предлагал заменить спокойно-распространённым описанием:

Стада с облаками построились в цепь,
В гряды потухающих сопок,
Раскинулась морем безбрежная степь
Привольем без меж и без тропок.

Разве здесь стоило отказываться от старого текста? А Пастернак ещё предлагал, стремясь вытравить термин «марина», заменить строчку «Безбрежная степь, как марина» строкой — «Пустынна степная равнина». Кроме того, порывался изъять из прекрасного стихотворения шесть строф. И, конечно, я опротестовал замену в стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакаты!..» всем известных строчек о грачах: «Сорвутся в лужи и обрушат/Сухую грусть на дно очей» на такие: «Всей стаей, оглушая уши,/Сорвутся с карканьем в ручей».

Тут приведены лишь несколько примеров не вошедшей в текст издания правки.

Надо заметить, что у Пастернака не было и тени какой-то сентиментальности, чувства старой привязанности к своим давним стихам, во всяком случае читал и правил он их почти безжалостно. Только, помню, однажды, когда мы, перелистывая корректуру сборника, дошли до стихотворения «Да будет», он оживился и сказал почти гордо: «Вот это стихи!» А в одной из записок ко мне с текстом стихотворения «Памяти Марины Цветаевой», снимая три строфы в

середине (и разбранив их на полях записки), у последней строфы — «Лицом повёрнутая к Богу» — чётко написал: «Это хорошо». Кстати, я убедил его из трёх вычеркиваемых строф снять только одну, вместо которой он поставил в корректуре линейчку. Пастернак внёс в корректуру сборника исправления многих старых строк в конце поэтического цикла «Волны». Как свидетельствуют последние издания его стихов, потом он ещё раз вернулся к этой вещи и создал, пожалуй, лучший текст окончания «Волн».

Сейчас я сожалею, что в обычной суете и спешке я мало его расспрашивал о возникновении того или иного стихотворения, об их истории. Помню, как пытаюсь установить дату написания одного стихотворения, я услышал такой ответ Бориса Леонидовича: «А это было перед тем, как арестовали Мейерхольда!».

Мне страстно хотелось, чтобы Пастернак вновь принялся за поэзию. У него был большой перерыв в писании стихов: всё своё время он отдавал роману «Доктор Живаго», который был близок к завершению, и о новых стихах не помышлял. В наших беседах он даже пренебрежительно говорил о писании стихов как о деле мальчишеском, несерьёзном. Я с горечью сознавал, какая огромная поэтическая сила пропадает понапрасну и чего мы все лишаемся. Я вел буквально психологическую атаку на Пастернака, побуждая и уговаривая его писать новые стихи. Одним из главных моих козырей в этих уговорах был такой. Наша книга, говорил я, по принятому хронологическому порядку заканчивается евангельскими стихотворениями из «Доктора Живаго». Отодвинуть их вглубь книги, прикрыть их у нас нечем. Можете представить себе, как уцепятся за них ваши недруги, обвиняя вас в мистике и религиозности? Выход один, утверждал я, — нейтрализовать эти стихи новыми и таким образом обезопасить сборник.

Все, кто помнит повадки и настроения литературного и издательского начальства в зыбкие и шаткие пятидесятые годы, хорошо поймут мои опасения. Понимал их и Пастернак. А я видел в нем великого поэта и считал, что даже два-три новых его стихотворения были бы живым украшением и книги, и нашей литературы. Поначалу сопротивление Пастернака было упорным и мало обнадеживающим. Но помню, как однажды, уходя из моей квартиры на Ново-Басманной, он остановился на пороге, держа дверь полуоткрытой, обернулся ко мне и сказал своим гудящим голосом: «А вы знаете, мне теперь даже хочется писать стихи!»

Первым стихотворением будущего цикла «Когда разгуляется» стало «Быть знаменитым некрасиво...». «Это я разминаю мускулы», — сказал Пастернак, передавая мне его. За ним последовали другие — и под рубрикой «Новые строки» они шли в набор, уже в корректуре, «прикрыв» собою евангельские стихи из «Живаго», которыми ранее заканчивался стихотворный, перед поэмами, раздел

книги. Пастернак уже не мог остановиться и продолжал писать стихи и тогда, когда книга погибла. Весной 1956 года он чувствовал себя прекрасно, был на взлете, в душе его открылись какие-то окна, какие-то шлюзы, чтобы в них хлынула поэзия. А я был удовлетворён тем, что так или иначе способствовал рождению новых его стихов.

До того времени, как началась разнузданная травля Пастернака, несмотря на перенесённые болезни, он живо чувствовал счастье существования, называл свою подспудную, глухую судьбу «неслышанной, волшебной». Внутренняя свобода давала ему возможность безоглядно погружаться в работу над прозой, переводами, стихами. Его кабинет наверху переделкинской дачи был по-спартански прост — украшением комнаты служил лишь чудесный пейзаж за рамами окон. Природа и простые люди, повседневный быт питали поэзию Пастернака как раньше, так и теперь, в пятидесятых. «Какая непередаваемая красота, — писал он в те годы двоюродной сестре, — жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова, глаза разбегаются, это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодеет так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребке начнёт мёрзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И всё это дышит и пахнет, всё живое и может умереть... А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра тёмным, ночным ещё полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал, и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно ещё живётся, особенно в периоды трудности и безденежья. Как еще рано сдаваться, как хочется жить...»

Должен сказать, что хотя стихотворение «Быть знаменитым некрасиво...» было написано первым, я из тактических соображений поставил его в книге вторым, следом за «Во всём мне хочется дойти...». Борис Леонидович не возражал против такого хода, и с тех пор всюду соблюдается этот установленный тогда порядок.

У меня сохранилась вёрстка сборника, читанная Пастернаком перед подписанием книги в печать, с его свирепой, иногда целыми строфами, правкой таких стихотворений, как «Ночь», «Ева», «Июль», «В больнице», «Ветер», «Музыка», «Трава и камни». Это были свежие, только что из-под пастернаковского пера, стихотворения, и, естественно, я не препятствовал на этот раз никаким исправлениям. К тому же и правка была по мастерству изумительная. Любо-дорого смотреть на аккуратные и вместе с тем свободные, напоминающие журавлиный полёт, чернильные строки поэта на листах корректуры.

Лето 1956 года прошло благополучно. С книгой Пастернака особых метаморфоз не происходило, хотя главная редакция не про-

пустила стихотворения «Гамлет» («Ссекли у цикла голову», — отозвался на это Пастернак) и «Другу» — «Иль я не знаю, что, в потемки тычась...». Не раз мне пришлось ездить к главному редактору издательства на дом, на улицу Короленко, чтобы, при всех колебаниях этого интеллигентного человека, заручиться его поддержкой относительно включения в книгу «сомнительных» стихотворений. Целыми неделями я волновался, не зная покоя, по этому поводу. В январе 1957 года сборник, пройдя корректуру, был подписан к печати.

Беда надвинулась в тот же год осенью, когда Пастернак передал роман «Доктор Живаго» представителям итальянской издательской фирмы Фельтрелли. По моим тогдашним сведениям, Борис Леонидович сделал это, ни с кем не посоветовавшись, на свой риск и разум. Я узнал об этом буквально на другой день. Надо было поставить в известность о таком событии директора Гослитиздата Анатолия Константиновича Котова, и я из дома позвонил ему по телефону. Вдруг да этот умный человек, тогда думалось мне, бывавший даже в кабинете «серого кардинала» Сулова, найдёт какой-нибудь приемлемый выход из положения?.. Скрывать происшедшее не имело смысла: по городу, я знал, вот-вот начнут ползти сенсационные слухи, а мне важно было знать, что будет теперь с драгоценной для меня книгой Пастернака. А. К. Котов в том телефонном разговоре сказал: «Коля, надо сделать все возможное, чтобы Пастернак взял рукопись обратно». Но кто мог убедить почти семидесятилетнего поэта, что он сделал опрометчивый шаг? Ни я, скромный редактор, и никто из его давних друзей! Пастернак и не рассчитывал тогда на чье-либо сочувствие, он был готов в душе к осуждению со стороны всех близких. Он хотел отвечать за себя самостоятельно, не считаясь ни с кем.

В ту пору я ещё не подозревал, что одно властительное учреждение держит поэта под бдительным своим надзором. Как я полагаю, по наущению одной пожилой дамы, бок о бок работавшей со мной в нашей редакции, а прежде, как выяснилось, служившей в каком-то качестве в концлагерях, я был дважды вызван в оное учреждение, где со мной беседовали двое или трое «джентльменов» в штатском, и разговоры наши кончались обоюдным крайним неудовольствием. Я сообщил о них Пастернаку, приехав к нему назавтра в Переделкино рано утром и сразу поднявшись по лестнице в его рабочую комнату. Не исключено, что моя поездка была соответственно зафиксирована. Как вспоминаю, через несколько недель мне стали настойчиво звонить по телефону «джентльмены» из той же комнаты, приглашая на этот раз явиться в номер гостиницы «Москва». Звонки следовали один за другим, и такая бесцеремонность меня очень разозлила. Распалившись, я сказал однажды телефонному собеседнику: «Я знаю, зачем вы меня вызываете. Я к вам никогда не

приду. У вас есть прекрасный способ общения с гражданами — ордер на арест...».

Надо ли удивляться, что после этого разговора я с опаской — может быть и мнимой — стал ходить по московским улицам и боялся плохо управляемых автомашин. Поэтому, когда меня в начале 1957 года вызвали в военкомат и предложили ехать на военную пере подготовку на три месяца во Львов, я беспрекословно согласился, хотя многие офицеры запаса, потревоженные по тому же поводу, на моих глазах всячески отнекивались. Во Львове я каждое воскресенье, переодевшись в гражданское, ходил по книжным магазинам в чайнии увидеть вышедшую книгу Пастернака: ведь она была подписана к печати, и запрета на нее никто не объявлял. Увы, книга в магазинах не появлялась. Весной 1957 года, в положенный срок, я возвратился в Москву. Товарищи по работе мне говорили: «Тебя не было здесь три месяца, считай, что ты отсутствовал три года — так всё перевернулось». Ибо уже к лету 1957 года подувший было свежий ветер в литературе замер. Едва ли не первым признаком этой зловещей перемены был фельетон журналиста из «Правды» И. Рябова по поводу опубликованного в прессе предисловия Эренбурга к предполагаемому сборнику стихов Марины Цветаевой — фельетон недвусмысленно назывался «Кладбищенская поэзия».

Через неделю после возвращения я был вызван «на ковёр» к ещё незнакомому мне директору издательства Г. И. Владыкину, недавно сменившему умершего А. К. Котова. Поминутно прибегая к формуле «я как директор», он расхаживал по кабинету и в самом враждебном тоне отчитывал меня за аполитичность и притупление бдительности в работе с Пастернаком, намекая, что мне вряд ли обеспечена спокойная жизнь в издательстве. Потом мне передавали, что я очень раздражал директора своим независимым видом и тем, что записывал его тезисы, чтобы на них возразить, на коробке папирос. Как явствовало из этого тяжёлого разговора, книга Пастернака была уже под ударом. Директор не пожелал даже объяснить мне, почему она после подписания к печати не выходит в свет. Наклоняя свою голову с косым пробором, он только горделиво говорил: «К вашему сведению, я пользуюсь первоисточниками и хорошо их знаю». Под «первоисточниками» он имел в виду вышестоящие инстанции.

После передачи «Доктора Живаго» итальянцам вопрос о печати книги пастернаковских стихов буквально повис в воздухе. Но приказа о её запрещении официально никто не давал. А я, всё ещё надеясь на лучшее, хватался за соломинку и обивал пороги главной редакции, требовал разъяснений. Мне предъявляли одну претензию за другой — изъять из книги то это стихотворение, то другое. Вероятно, со стороны начальства велась лицемерная игра ради того, чтобы оттянуть решительный отказ и уклониться на всякий случай от ответственности. Среди всех претензий была выставлена главная:

приближается, говорили мне, сороковая годовщина Октября, а в книге об Октябрьской революции ничего нет!.. Со стороны издательского руководства это был, по тем временам, сильный тактический ход, и с ним следовало считаться. Не мне принадлежала эта выдумка или, вернее, хитроумный предлог по поводу Октября. И напрасно утверждает в двухтомнике Пастернака сын поэта, что в автобиографии посвящённая Октябрьской революции главка «Сестра моя жизнь» написана «по настоянию составителя». Я знал, что Борису Леонидовичу такое новое требование будет не по душе, писать о политике не входило в его планы. Но — ангельски добрый человек! — он внял моим уговорам не противиться просьбе издательства и набросал карандашом несколько страниц о русской революции — страниц достойных, независимых по духу, глубоко интересных. Сохранилась записка, в которой он намечал место этой главки в структуре автобиографии, оставляя последнее слово за мной.

Но оказалось, что главка «Сестра моя жизнь» фактически уже не нужна, больше никто из администрации книгой не занимался. Всё говорило о том, что где-то секретно было решено её прихлопнуть. Каждый новый день подтверждал это подозрение. Мне надо было рассказать Борису Леонидовичу о том, что происходит, посвятить его во все перипетии дела и признаться, что никакой надежды на выход книги нет. Двадцать первого июня 1957 года я вместе с О. В. Ивинской, её дочкой Ирой и фотографом Александром Лазаревичем Лессом поехал к нему в санаторий Узкое. Пастернак находился там после пребывания в кремлёвской больнице (вторая серьёзная его болезнь за годы нашего знакомства). Было свежее, яркое утро, хотя погода стала портиться; старинный парк санатория обширен и прекрасен; Борис Леонидович встретил нас в парке, похудевший, но бодрый, в свободном светлом костюме. Когда все удобно расселись на большой скамье, я, выбрав минуту, начал рассказывать печальные новости о книге. «Слушал Пастернак внимательно, — гласит моя тогдашняя дневниковая запись, — не взрывался, молодецки спокойно. Видимо, так готов к этому исходу, что и не огорчён. Когда я, рассказывая о поведении начальства, назвал гослитовского директора Владыкина инквизитором, Борис Леонидович заметил, что Владыкин не инквизитор, он поставлен для надзора и будет делать, что ему прикажут. Я сообщаю поэту слова Владыкина о том, что вот только Константин Федин мог бы удерживать Пастернака от передачи „Доктора Живаго“ за рубеж. Пастернак решительно заявляет: „Более оригинального мнения нельзя себе представить!“».

Возвращаясь из парка в здание санатория — пошёл дождь! — мы с Пастернаком поотстали от компании, и он, всё в связи с гибелью книги, говорил, что никак не может взять в толк, ради каких целей осуществляется столь жестокий контроль над литературой, какой

тут смысл и польза. Я отвечал, что, по-видимому, в настоящей, глубокой литературе à la Толстой и Достоевский власть не нуждается, ей нужен по существу один агитпроп. И что я тоже не понимаю, зачем нужен такой контроль и такая политика. Кроме того, когда мы ещё сидели на скамейке, он говорил, что в его жизни было не раз, когда его ощущение и чувство не мирилось с чем-нибудь, протестовало, но при этом он оказывался в одиночестве и был как бы исключением, а потом вдруг происходила какая-то встряска — и выяснялось, что то, что ему самому казалось и считалось грешным и крамольным, это и есть истинно человеческое, нормальное. Бухарин и компания («Бухарин в наших глазах был Лениным, только в другой упаковке» — не раз слышимые мной слова Пастернака) были ортодоксами, говорить им самим о своих ощущениях, связанных с общественными безобразиями, было бы смешно, но потом, когда их встряхнули, оказалось, что они чувствовали и думали то же самое, что и мы. Страшная социальная неэкономность — когда убирают комнату, стараются с зеркал и столов смахнуть пыль, но не бьют их. Наши советские сорок лет — не сплошной же это мор, а рядом — какая-то дуракология.

На той же дороге в санаторий из парка, под дождём, Пастернак спрашивал меня, что с ним сделают за передачу романа иностранцам, что с ним будет вообще, когда в сентябре «Доктора Живаго» напечатают в Италии. Говорил, что готов пострадать. Я отвечал, что ясно не вижу, что с ним сделают, что, скорее всего, всё ограничится тем, что резко усилятся травля и гонения.

Все эти мысли и фразы Пастернака я выписываю из своего дневника, зафиксировавшего тот день в Узком. Лесс снял тогда в парке множество фотографий. И не случайно на них у Бориса Леонидовича суровое, почти отчуждённое лицо. Эта суровость — след невесёлых его раздумий и предчувствий.

Отступая в этой истории почти на год. У меня выпал из памяти эпизод о спорах с бухгалтерией Гослитиздата, по-видимому, сопротивлявшейся против выплаты мне гонорара за составление сборника, вопреки существовавшему договору. Забыл я и о том, что Пастернак, видя, что мне не хотят платить, предлагал мне деньги из своего авторского гонорара. Обо всём этом заставляет вспомнить письмо Бориса Леонидовича, написанное мне шестнадцатого июня 1956 года. Воспроизвожу его полностью:

«Дорогой мой Николай Васильевич! Ничего не выходит у меня с Вашими финансистами. Я был сегодня в городе и в отчаянии. Меня убивает Ваша неуступчивость. Мне кажется, Вам придётся плюнуть на расчёты с Гослитиздатом и пойти мне навстречу. Ну, слушайте.

Если бы, предположим, Митурич или какой-нибудь другой хороший художник нарисовал меня, и если бы передо мною не было примера отца, чьё владение формой обесценивает в моих глазах

любые современные неумелые попытки, — мог ли бы я, то есть имел бы я право приобрести удавшийся рисунок в собственность и заплатить за него те тысячи, в которые бы он ценился?

А Вы сделали гораздо больше. Вы спасли и утвердили главную и преобладающую часть моего существования, без Вас она не дождалась бы осуществления. Вы знаете, и это известно Александру Ивановичу и другим, что у меня самого не хватило бы духу вытащить это ещё раз на свет и выставить на всеобщее обозрение. Если бы Вы вместо меня написали „Доктора Живаго“, Вы сделали бы не больше. Силою Вашего почина я стал писать статью. Вы меня заставили уверовать в книгу: в Ваших руках она возникает и накапливается в том же приблизительно духе, как идут и развиваются у меня в эти месяцы дела, труды и мои настроения. Понимаете ли Вы, какой это для меня подарок, как всё это ценно.

Прошу Вас, не отравляйте мне радости, взгляните на дело моими глазами. Если они откажутся выставить Ваше имя как составителя (дело не в Вас, а именно категория составителя при живом авторе не укладывается в их мозгах), всё равно я при любых условиях в конце статьи выразил бы Вам благодарность в том духе, в каком высказываю её в письме.

А если сверх моего пятидесятилетнего долга Вам (то есть предлагаемых Пастернаком мне денег. — Н. Б.), Вы выиграете процесс у Гослитиздата, работа достойна и этого удвоения.

Я во вторник поговорю с Вами. Ну как мне Вас уломать и как Вы меня огорчаете. Привет Нине Сергеевне.

Ваш Б. П.»

Бухгалтерия сдалась и выплатила мне деньги, а письмо поэта, которое я десятилетия не перечитывал, постоянно жило в моей душе все последующие годы.

Осень 1957-го готовила нам и новый сюрприз. По всему миру разнеслось, что Пастернаку за успехи в поэзии и прозе присуждена Нобелевская премия. Я его не видел в первые дни после этого известия. Но меня вновь побеспокоили «джентльмены» из могущественного учреждения. Они позвонили ко мне на работу и вежливейшим образом попросили свидания. На этот раз я не испытывал перед ними страха. Сказал, что через неделю, когда я не буду так, как теперь, загружен работой, можно и встретиться. «Что вы, Николай Васильевич, нам надо поговорить с вами сейчас же, сегодня!» Тон был настолько просительный, что я, посмотрев из окна нашей редакционной комнатки на улицу, сказал, чтобы «они» приезжали к двум часам в сад имени Баумана, расположенный в точности напротив издательства. Побежал домой, чтобы наскоро — на всякий случай! — пообедать, застал там своего приятеля, который десять лет отсидел в лагерях за пребывание в немецком плену и которого — тоже на всякий случай — я выпроводил из квартиры.

И направился в условленное время в сад Баумана. Только я вошёл в ворота сада, как изнутри его навстречу мне, делая рукой приветственные знаки, двинулись два солидных человека, по виду лет сорока с лишним, с явными признаками выпуклого брюшка, в серых плащах. Они почему-то ещё издали узнали меня, хотя я видел их впервые.

А погода к тому часу неожиданно испортилась, пошёл холодный осенний дождь, сад Баумана выглядел разорённым, сиротским, неприятным: летний сезон в нём давно кончился. Мне стало жаль этих «джентльменов», казалось неудобным беседовать под холодным дождиком ... «Пойдёмте ко мне домой», — сказал я, и они очень обрадовались. Мы зашагали по Ново-Басманной в направлении Разгуляя — всего один квартал — к моему дому, и почти рядом с нами тихонько двигалась по мостовой легковая автомашина. Я провёл незнакомцев в свою рабочую комнатку, бедную, узкую и темноватую, с книжными полками во всю стену. «Джентльмены» стали рассматривать — больше для виду — корешки книг на полках, а я недоумевал, зачем я им понадобился. И тут же спросил, чем обязан их визиту. «Вы знаете, что Пастернак получил Нобелевскую премию?» — говорят они. «Конечно, знаю. Что же из этого следует?» «Мы хотим посоветоваться с вами. Ведь вы как никто знаете Пастернака. Что бы вы предприняли на месте властей при такой ситуации?» «Да разве моё дело — думать об этом, — почти вскипел я. — У меня уйма служебной работы, я не обязан думать за правительство, пусть думает оно само!» «Нам важно выработать свою точку зрения, вот мы с вами и советуемся, ведь вы советский человек». Кажется, они действительно приехали не за тем, чтобы изучать и «разрабатывать» меня, — подумал я и попросил минуту на размышление. Не очень вежливо меряя шагами комнатку и дымя сигаретой, я, наконец, сказал: «Можете записывать мою точку зрения». Записывать «джентльмены», помнитесь, не стали, но слушали чрезвычайно внимательно. Во-первых, сказал я, надо опубликовать в газетах сообщение о присвоении премии Пастернаку; сказать в этом сообщении, что хотя в Советском Союзе по-разному оценивают роман «Доктор Живаго», наша общественность благодарит Нобелевский комитет за внимание, проявленное им к советской литературе. Во-вторых, незамедлительно опубликовать «Доктора Живаго» книгой, если угодно, небольшим тиражом, или в журнале, и, если угодно, запретить всякие отзывы о нём в прессе, положительные и отрицательные.

Помимо того, я счёл нужным разъяснить посетителям, что Пастернак — не малое дитя, не юный пионер, перевоспитывать его или воздействовать на него силой уже поздно. Это человек не нашего с вами воспитания и возраста. Но он по-своему патриот и чрезвычайно отзывчив на ласку и внимание — надо тактичным, не по сурков-

скому образцу, поведением властей смягчить его и воспользоваться во имя литературы его огромным талантом.

Таков был мой взгляд на события, таким я видел выход из положения, в котором оказались литературные и иные власти в те тяжёлые, тягостные для друзей поэта дни, когда над ним уже сгущались тучи. И снова я думал о печальной судьбе стихотворной пастернаковской книги. Сколько было потрачено на неё труда, какая культурная ценность пропадает!

«Джентльмены», поблагодарив за беседу и не сказав ни единого слова по поводу моих речей и предложений, удалились, и больше я никогда не сталкивался с явными представителями этого ордена и не слышал от них ни одного телефонного звонка. Но их неожиданным посещением история с Пастернаком для меня не кончилась. Вскоре в Гослитиздате было устроено партийное собрание, где обсуждалось «дело Пастернака» и где основными обвиняемыми были я и мой друг со студенческих лет, покойный Анатолий Старостин, тоже сотрудник издательства, вызвавшийся быть редактором романа «Доктор Живаго». (На издание его ещё А. К. Котов подписал с Пастернаком договор, а специальным письмом в издательство — я это письмо читал — Фельтрелли извещал, что определённое время, до какой-то названной им даты, он не пустит рукопись в типографию, будет ждать выхода романа в России и напечатает его в Италии по тому тексту, какой ему будет выслан из Москвы за подписью Пастернака.)

Партийное собрание, о котором я рассказываю, было зловещим: ведь в президиуме сидел сам бесноватый Владыкин! После вступительного доклада партсекретаря С. Дароняна выступавшие в прениях партийцы изошрялись в нападках и на Пастернака и на его редакторов. В душе меня глубоко оскорблял этот почти омерзительный шум и гвалт, поднятый вокруг Пастернака, в котором я больше всего ценил таинственное, сокровенное, тютчевское начало. Часть аудитории сидела как пришибленная, а брали слово заранее подготовленные ораторы. Та пожилая дама (назову-таки её фамилию: М. Н. Виташевская), по наводке которой, как я полагал, меня вызывали на Кузнецкий, заявила, что я ещё слишком молод, чтобы братья за составление серьёзных книг (мне тогда было тридцать восемь лет, хотя я выглядел молодо), а другой, тоже пожилой сотрудник, А. Д. Деев, — у него, как я узнал потом, томился в концлагерях родной брат, — сказал, что Пастернак, опытный деятель антисоветского подполья, хитроумнейшим образом расставил своих агентов на всех необходимых ему местах: агентами были и я, и Анатолий Старостин. Когда меня пригласили на трибуну, доброжелатели шепнули мне, чтобы я был как можно сдержаннее и скупее на слова. Я действительно не сказал ни одного лишнего слова, а на провокационный вопрос из зала, ценю ли я теперь, после всего происшедшего, то есть Нобелевской

премии, Пастернака, ответил, что я ценил и продолжаю ценить его как замечательного певца русской природы. Большого сказать в той атмосфере было невозможно. Нам со Старостиным не вынесли даже выговора — было трудно всерьёз свалить всю «вину» на редакторов или составителей, работавших по официальному договору и под присмотром издательского руководства. Впрочем, когда кто-то заговорил о нашем исключении из партии, Владыкин откликнулся так: «Если скажут, исключим». Кто именно скажет — он не добавил. В последние минуты собрания я сказал на ухо Старостину, что от Гослитиздата мы, кажется, «ушли», сейчас бы только уйти от «джентльменов» из ордена. Не знал я тогда, что меня в течение восьми лет не будут пускать даже в туристские поездки за рубеж, хотя я дважды или трижды писал по этому поводу протесты на высочайшее имя.

Книга стихов Пастернака, как я говорил, по существу погибла ещё до присуждения ему Нобелевской премии. Но об этом никто из издательского руководства не говорил прямо, вводя в заблуждение не только меня, но и автора. В моих папках лежит машинописная копия письма Бориса Пастернака к Владыкину, к сожалению, лишённая даты. Но, конечно, письмо было написано в 1957 году, когда поэту одно за другим предъявлялись вздорные требования. И, вероятно, до нашей встречи и разговора в Узком. Не знаю теперь, было ли оно отослано адресату, но не сомневаюсь в том, что, если это и произошло, письменного ответа Борис Леонидович не получил. Наверное это была последняя попытка Пастернака договориться с руководством Гослитиздата. Неясно в письме, о каком «своде требований издательства» говорит поэт. Требования обычно возникали не враз, не кучей; насколько я помню, «свода» я Борису Леонидовичу не подавал, может быть, это сделала на каком-то этапе главная редакция помимо меня. Вот это письмо:

«Многоуважаемый Григорий Иванович!

Более двух лет тянется история с изданием моей стихотворной книжки, и даже после подписания её в январе к печати меня вновь просят вносить в неё изменения и делать купюры. Никто не скажет, что я был неуступчив или упрям, когда книга готовилась в производство. Из своего вступительного очерка я выбрасывал тогда целые страницы. Тем не менее печатание книги затянулось так, что это вызывает по меньшей мере тревогу и удивление. Разве мыслимо было в таких условиях предусмотреть появление ругательных фельетонов о Цветаевой и заранее приноровиться к этому?

Мне представили сейчас свод требований издательства по исправлениям и купюрам в подписанной к печати книге. Я иду навстречу издательству и снимаю несколько абзацев, относящихся к обстоятельствам возвращения Цветаевой в Советский Союз и к моей оценке её творчества, хотя всего три месяца назад мне позво-

лялось думать о ней то, что я думаю. Я устраняю или исправляю несколько мест об Андрее Белом. Соразмерно моим возможностям я касаюсь и Октябрьской революции. Я не настаиваю на печатании моего очень старого стихотворения „Брюсову“. Мною внесён и ряд других мелких исправлений — вычеркнута моя, авторская, оценка романа „Доктор Живаго“ и т. д.

Однако в четырёх случаях я был должен отказаться от того, что мне предлагают. Я считаю, что следует оставить в книге стихотворение „Нас мало“. Оно датировано 1921 годом, не содержит никаких вызывающих деклараций и уже ушло в глубь истории. В стихах о Блоке я позволил себе в самых общих выражениях ругнуть подхалимов, фальсифицировавших историю русской словесности, и не думаю, чтобы это служило основанием для запрета печатать стихотворение. Во вступительном очерке на странице 51 я говорю о трагической судьбе двух дорогих мне людей — Табидзе и Яшвили. Судьба их в самом деле страшна, и обоих их теперь и печатают и ценят. Неужто я не могу сказать о своём горе, о своей утрате, если я даю в книге моё жизнеописание? И последнее: касательно моей благодарности Николаю Васильевичу Банникову. Я не вижу резона, почему я не могу поблагодарить человека, если он даже работает в Гослитиздате. Составление книги не было его служебной обязанностью, он это делал по договору. Если моя книга кому-то и не понравится, то это не вина Н. В. Банникова, а вина моя, он не может нести ответственности и за каждую строчку в моём вступительном очерке. Забота о его интересах и безопасности в данном случае совершенно излишня. Неужели, по-Вашему, я так зачумлён, что никому не могу сказать и простого „спасибо“? Снимите тогда и фамилии редактора Коляджина, техреда, корректора — ведь они тоже трудились, готовя книгу к печати, и несут за неё ответственность.

Мне до сих пор неясно, хотите ли Вы печатать мою книгу. Те пункты, по которым я разошёлся с издательством относительно купюр, столь незначительны, что они не могут служить оправданием для задержки книги. Следовательно, только от Вас зависит, печатать её или нет. Переговоров и обсуждений было достаточно. Последняя моя книга стихов вышла двенадцать лет назад, в 1945 году. От месяца к месяцу откладывается и эта. Очень хотелось бы получить её в готовом виде, а не возиться в десятый раз с корректурами.

Б. Пастернак.

Покорно просил бы Вас не задерживать платежей по книге — она подписана в печать и я имею право на полный гонорар».

Читая это письмо, дивишься, как по корыстным, политиканским соображениям властители тогдашней жизни унижали крупнейшего русского поэта — и не одного его! И как далеки эти властители по

всему своему существу, по природе своей от всякого истинного искусства, от настоящей литературы.

Писать о том, как развивались дальнейшие события, не входит в задачу этих заметок. Скажу только, что несмотря на беспардонную травлю поэта, несмотря на исключение его из Союза советских писателей людьми, в своём большинстве даже не читавшими роман «Доктор Живаго», несмотря на патрулирование таинственных автомашин вокруг переделкинской дачи и — в какие-то дни — физическую опасность для поэта, он не прерывал своей работы. Пастернак вообще являл собой пример огромного трудолюбия. «Я человек расписания», — сказал он мне однажды на переделкинской дорожке, и я не сразу понял, что он имеет в виду. А смысл его слов был прост: он каждый день работал по заранее намеченному расписанию и не отступал от него. Даже укрываясь в семье Тициана Табидзе в Тбилиси, куда он уехал из Москвы, чтобы уклониться от свидания с английским премьер-министром Макмилланом — тот перед визитом в нашу страну запланировал встречу с ним — Пастернак наладил в грузинской столице тот же, привычный для него, рабочий ритм и писал, как мне рассказывали, каждый день. Ведь и цикл стихов «Когда разгуляется» пополнялся и дописывался уже после крушения сборника и скандала вокруг Нобелевской премии, а «Слепую красавицу», пьесу в прозе из времён крепостничества, поэт набрасывал даже во время предсмертной болезни. И на этот же период последних его лет падает работа над переводом трагедии Шиллера «Мария Стюарт» и второй частью гётевского «Фауста»! Но главным, заветным трудом всех его последних лет был «Доктор Живаго». По существу Пастернак писал в романе о том, как революция сожгла старую русскую интеллигенцию — такая тема была довольно обычной в нашей художественной литературе двадцатых годов, отнюдь не вызывая осуждения и преследований писателей. Это «очень печальная, очень много охватившая, полная лирики и очень простая вещь», — говорил о своём романе Пастернак в письме к одной зарубежной корреспондентке в 1955 году. Пастернак не хотел умереть, не поведая миру свои заветные мысли, не опубликовав роман. Связать это произведение со всей своей жизнью, даже отдав прекрасные, может быть, лучшие свои стихи герою повествования — таково было тогдашнее его стремление. А у нас в стране печатать «Живаго» отказались. Здесь — зерно трагедии последних лет поэта. Может быть, мыслимо сказать, что в жертву роману им была принесена жизнь. Пастернак радовался выходу в свет — пусть за рубежом — своего романа, он говорил с торжеством: «Мы тоже запустили свой спутник!»

Мне довелось видеть Пастернака за работой, в дружеской беседе, на ежедневных его прогулках, за праздничным столом, где он произносил несказанно чудесные здравицы, видел его на трибуне

литературных вечеров, видел его и в дни невзгоды, даже плачущим. Я делю свою жизнь на две части — до моей встречи с Пастернаком и после Пастернака.

Это был человек доброго сердца, демократичный, чуткий к чужой беде, преданный своему делу, великолепно образованный. Он не читал газет, не вникал в политические хитросплетения дня. У него было чутьё птицы, летящей над землей, которая скрыта туманами. «Моё время ещё впереди», — говорил он. Россию, русский язык он любил до обожания. Трагедия его последних лет — это трагедия растоптанной «оттепели», обвал пятидесятих годов — свидетельство бескультурия и страшной силы пресловутого «стереотипа мышления», охватывавшего как властительные верхи, так и низы нашего общества. Есть все основания полагать, что трагедия, пережитая Пастернаком, существенно сократила его дни. А он, несший в себе необычайный поэтический дар, ещё мог бы много создать, обогащая родную литературу.

*20 февраля
1990 года*

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН

(Вместо предисловия к эссе Н. Тэффи о Пушкине)

Если попытаться взглянуть на жизнь достаточно широко и под определённым углом зрения, то нетрудно убедиться, что жизнь или, точнее, бытие, носит во многом ритуальный, «знаковый» характер. Ритуал сопутствует человеку от появления на свет и до последнего вздоха. Впрочем, даже уход не прерывает ритуала. Иной и после кончины остаётся в памяти многих, и это воспоминание стимулирует новый, подчас очень долгий ритуальный путь.

Есть выработанная трудными поисками система ритуалов в русской культуре и, в частности, в литературе. Одни более древние, иные помоложе. Некоторые люди относятся к ним как к *таинству*, другие же — благообразно и нетерпеливо. Совсем как на похоронах: кто-то скорбит искренне, теряя нечто невозможное, а рядом стоят равнодушные истуканы, украдкой поглядывающие на часы. И всё же рискованно предположить, что за последний век в нашей культуре возник ритуал, где истуканов, участвующих по должности, гораздо меньше обычного.

Это — *наше постоянное прощание с Пушкиным*. Некогда поэт и критик Георгий Адамович сказал: «Гроб Пушкина в истории России стоит открытым навсегда». Слова, быть может, слегка выпренины, но по сути своей абсолютно точные. По крайней мере, они стали таковыми с тех пор, когда нашим отношением к поэту начали измерять духовное здоровье нации. Тогда, или примерно тогда, и появился ритуал, многое оправдывающий и объясняющий в нас; «знак», коему трудно подыскать аналог в мировой культуре.

На невидимых нравственных скрижалях было начертано: русский художник не довершит чего-то очень важного, имеющего к его творчеству и жизни, самое прямое отношение, коли покинет сей мир, не сказав — в той или иной форме — *слова о Пушкине*.

Два великих прощальных слова прозвучали в России за истекший век — предсмертные речи Достоевского и Блока. А сколько было менее звучных, провиденциальных, но отнюдь не менее искренних? — Не счесть...

Россия XX века — Россия расколота, разодранная на части. Речь Блока доносилась из одной, окровавленной, но была явственно слышна в другой, в Русском Зарубежье. Там ритуал соблюдался столь же неукоснительно. Люди уходили и, уходя, отдавали по-

следний поклон Пушкину. Так шли годы. А потом наступил момент, когда слово «уход» стало иметь отношение к первой эмиграции в целом. Поколение, выдюжившее великий Русский Исход, превращалось в огромное кладбище, раскинутое по всему белу свету.

О Пушкиниане Зарубежной России написано в последние годы немало, хотя до сих пор нет фундаментальных трудов. Сказано кое-что и о 1937 годе, когда повсеместно эмиграция отметила 100-летие со дня кончины поэта. И почти ничего не поведано о годе 1949-м — том самом, что стал для Русского Рассеянья *последним* пушкинским юбилеем. Для большей части изгнанников этот юбилей фактически был *прощальным поклоном*.

Многие из уцелевших приняли в чествовании поэта посильное участие. Большой резонанс имели публичные выступления митрополита Анастасия (Грибановского), главы Русской Зарубежной Церкви, Г. В. Адамовича, Б. Л. Бразоля, М. Л. Гофмана, И. А. Ильина, Е. В. Спекторского, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка и других. А Иван Бунин сказал 21 июня в Париже, в «публичном собрании», речь, которая вполне может быть эпиграфом ко всей Пушкиниане Зарубежной России: «Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при её попустительстве, драгоценная жизнь того, кто воплотил в себе её высшие совершенства. А что случилось с ней самой, Россией Пушкина, и опять-таки при её попустительстве,— ведомо всему миру... Не поколеблено одно: наша твёрдая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют её до конца силы адавы». В те же дни и в том же Париже проходила выставка «Пушкин и его эпоха», организованная — как и в 1937 году — неутомимым балетмейстером и коллекционером-пушкинистом С. М. Лифарём. Много иных мероприятий было инициировано тогда эмигрантами — в Европе, в Америке...

На их фоне едва ли выделялось эссе знаменитой писательницы Н. Тэффи (урождённой Лохвицкой Надежды Александровны) в нью-йоркской еженедельной газете «Новое Русское Слово». А ведь это тоже было *прощание*, очень личное, подведение итогов, немножко грустное, но и с искрой свойственного ей юмора. Есть надежда, что бесхитростные слова писательницы ныне не будут расценены как дежурная юбилейная статейка, как участие в ритуале с *поглядыванием на часы*.

Эссе Н. Тэффи — зримый пример того, как уходила первая эмиграция. Уходила она достойно, мужественно, *по-пушкински*.

А помянутые *часы* всё шли и шли. Остаётся лишь сказать, что через три года, 6 декабря 1952, автора «Пушкинских дней» не стало.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН

(Вместо предисловия к эссе Н. Тэффи о Пушкине)

Если попытаться взглянуть на жизнь достаточно широко и под определённым углом зрения, то нетрудно убедиться, что жизнь или, точнее, бытие, носит во многом ритуальный, «знаковый» характер. Ритуал сопутствует человеку от появления на свет и до последнего вздоха. Впрочем, даже уход не прерывает ритуала. Иной и после кончины остаётся в памяти многих, и это воспоминание стимулирует новый, подчас очень долгий ритуальный путь.

Есть выработанная трудными поисками система ритуалов в русской культуре и, в частности, в литературе. Одни более древние, иные помоложе. Некоторые люди относятся к ним как к *таинству*, другие же — благообразно и нетерпеливо. Совсем как на похоронах: кто-то скорбит искренне, теряя нечто невозможное, а рядом стоят равнодушные истуканы, украдкой поглядывающие на часы. И всё же рискованно предположить, что за последний век в нашей культуре возник ритуал, где истуканов, участвующих по должности, гораздо меньше обычного.

Это — *наше постоянное прощание с Пушкиным*. Некогда поэт и критик Георгий Адамович сказал: «Гроб Пушкина в истории России стоит открытым навсегда». Слова, быть может, слегка выпренины, но по сути своей абсолютно точные. По крайней мере, они стали таковыми с тех пор, когда нашим отношением к поэту начали измерять духовное здоровье нации. Тогда, или примерно тогда, и появился ритуал, многое оправдывающий и объясняющий в нас; «знак», коему трудно подыскать аналог в мировой культуре.

На невидимых нравственных скрижалях было начертано: русский художник не довершит чего-то очень важного, имеющего к его творчеству и жизни, самое прямое отношение, коли покинет сей мир, не сказав — в той или иной форме — *слова о Пушкине*.

Два великих прощальных слова прозвучали в России за истекший век — предсмертные речи Достоевского и Блока. А сколько было менее звучных, провиденциальных, но отнюдь не менее искренних? — Не счесть...

Россия XX века — Россия расколота, разодранная на части. Речь Блока доносилась из одной, окровавленной, но была явственно слышна в другой, в Русском Зарубежье. Там ритуал соблюдался столь же неукоснительно. Люди уходили и, уходя, отдавали по-

следний поклон Пушкину. Так шли годы. А потом наступил момент, когда слово «уход» стало иметь отношение к первой эмиграции в целом. Поколение, выдюжившее великий Русский Исход, превращалось в огромное кладбище, раскинутое по всему белу свету.

О Пушкиниане Зарубежной России написано в последние годы немало, хотя до сих пор нет фундаментальных трудов. Сказано кое-что и о 1937 годе, когда повсеместно эмиграция отметила 100-летие со дня кончины поэта. И почти ничего не поведано о годе 1949-м — том самом, что стал для Русского Рассеянья *последним* пушкинским юбилеем. Для большей части изгнанников этот юбилей фактически был *прощальным поклоном*.

Многие из уцелевших приняли в чествовании поэта посильное участие. Большой резонанс имели публичные выступления митрополита Анастасия (Грибановского), главы Русской Зарубежной Церкви, Г. В. Адамовича, Б. Л. Бразоля, М. Л. Гофмана, И. А. Ильина, Е. В. Спекторского, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка и других. А Иван Бунин сказал 21 июня в Париже, в «публичном собрании», речь, которая вполне может быть эпиграфом ко всей Пушкиниане Зарубежной России: «Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при её попустительстве, драгоценная жизнь того, кто воплотил в себе её высшие совершенства. А что случилось с ней самой, Россией Пушкина, и опять-таки при её попустительстве,— ведомо всему миру... Не поколеблено одно: наша твёрдая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют её до конца силы адавы». В те же дни и в том же Париже проходила выставка «Пушкин и его эпоха», организованная — как и в 1937 году — неутомимым балетмейстером и коллекционером-пушкинистом С. М. Лифарём. Много иных мероприятий было инициировано тогда эмигрантами — в Европе, в Америке...

На их фоне едва ли выделялось эссе знаменитой писательницы Н. Тэффи (урождённой Лохвицкой Надежды Александровны) в нью-йоркской еженедельной газете «Новое Русское Слово». А ведь это тоже было *прощание*, очень личное, подведение итогов, немножко грустное, но и с искрой свойственного ей юмора. Есть надежда, что бесхитростные слова писательницы ныне не будут расценены как дежурная юбилейная статейка, как участие в ритуале *с поглядыванием на часы*.

Эссе Н. Тэффи — зримый пример того, как уходила первая эмиграция. Уходила она достойно, мужественно, *по-пушкински*.

А помянутые *часы* всё шли и шли. Остаётся лишь сказать, что через три года, 6 декабря 1952, автора «Пушкинских дней» не стало.



Н. ТЭФФИ Пушкинские дни

Мы сейчас переживаем великие пушкинские дни.

Некое неизъяснимое волнение! Точно шорох крыльев весеннего перелёта заполняет воздух, и вся тварь земная подняла голову и смотрит на небо.

Когда вечером я закрываю глаза, мне чудится шелест перево-рачиваемых страниц. Это русские люди читают, перечитывают, перелистывают Пушкина. И днём, встречая друг друга, говорят:

— А помните: «Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?...»¹

— А помните: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» Как это... Как это... «Мне грустно и легко... Печаль моя светла...»²

Вспоминают, и лица делаются вдохновенными, и глаза восторженными. И люди становятся близкими, русскими, единственно понимающими и чувствующими своего поэта.

И снова писатели, посвятившие себя изучению Пушкина, пишут о нём, и спорят, и уличают друг друга, потому что каждая любовь ревнива и приятно унижить соперника.

И снова посылают нас учиться, по завету Пушкина, у московской просвири³, забывая, что пушкинской просвири уже нет, а современные московские просвири пишут исторические романы из великосветской жизни.

От иностранцев Пушкин закрыт. Сколько бы ни доказывали — Пушкина переводить нельзя. Жан Байи⁴, французский писатель начала восемнадцатого века, сказал замечательные слова: «Чем хуже писатель, тем легче его переводить». Пушкина переводить нельзя. Его поэзия, как древнее заклинание, передающееся от отца

к сыну, от сына к внуку, от внука к правнуку. В заклинании ни одного слова тронуть нельзя — ни заменить, ни изменить, ни подправить, ни переставить, — тотчас же магия исчезает. Исчезает та мистическая радиоактивность, та эмоциональная сущность, которая даёт жизнь. Остаётся смысл, отлично подобранные для выражения этого смысла слова, но магия исчезает. И с этим спорить нельзя. Это проверено.

«Mais il est plat votre poete»*, — говорят о Пушкине французы и не понимают нашего энтузиазма.

И ни у одного народа нет к своему поэту такой любви, благоговейной и вместе с тем органической, как у нас, у русских, к Пушкину. Англия разумно гордится Шекспиром, но душою не любит его. Немцы высоко ценят Гёте, но в народное сердце он не вошёл. Французский народ мало любит своих поэтов. Он отдаёт им должное, но песен о них не поёт.

А мы, мы Пушкина любим.

Знаете ли вы, что существует особый закон, определяющий эстетический уровень человека? Покоряясь этому закону, каждый должен любить музыку. Пусть он на самом деле с восторгом подбирает одним пальцем чирика, он всё-таки будет говорить, что любит музыку. Один немецкий философ сказал: «Мне всегда подозрительна та bestия, которая не любит музыки». Итак, каждый знает, что музыку надо любить.

И ещё каждый знает, что надо любить море. За всю мою жизнь я ни разу не встретила человека, который сказал бы, что не любит море. И эти два закона всемирны.

Но у нас, у русских, есть ещё один закон: любить Пушкина. И мы его любим. Иногда странно, по-своему, чисто по-русски, — но любим. Вообще-то русской душе неприятен человек выдающийся. Русская душа сейчас же начинает искать в нём недостатки. «Пьяница, картёжник, изменил жене, эгоист, не любит кошек». Если это современник, то с наслаждением распространяют скверные сплетни и пишут ему анонимные письма. Такова наша манера любить. Это значит, что мы им «интересуемся». А уж гордиться своим выдающимся человеком, этого за нами никогда не водилось. Может быть, оттого, что воспитаны были в сочетании, что всё заграничное лучше. Даже цыганки наши говорили, подольщаясь: «Заграничные усы, дай я погадаю».

Но вот по отношению к Пушкину мы смирились. Мы верим в его величие, мы признаём его гений, и мы его защищаем, как чудотворную икону от кощунственных рук иноверцев. И это, кажется, единственная святыня, которая соединила нас всех, всяких инакомыслящих, от седовласого монархиста до комсомольца с красным

* Однако ваш поэт зауряден (фр.).

галстуком. Всякий любит по-своему, но любит. И все мы стоим коленопреклонённые и все рядом, плечом к плечу. И наши картёжники тоже высоко ставят Пушкина, когда в оправдание своему пороку говорят: «Однако Пушкин тоже играл в карты». И самые пошлые бабники ссылаются на Пушкина: «Сами говорите, что он был гениален, однако не станете отрицать, что он ухаживал за дамами».

И всё, что другому ставилось бы в укор, у Пушкина является как бы незыблемым правом и даже примером для почитателей.

— Конечно,— говорили,— я таких стихов, как Пушкин, писать не могу, но толк в хорошем вине понимаю так же, как и он. Не хуже.

Быть или хоть казаться таким, как тот, кого ценишь,— это ведь тоже любовь.

Вспоминается один милый старичок. Очень хвалил Пушкина.

— Прямо,— говорил,— гениальный поэт. Ещё в школе зубрил, а вот до сих пор не забыл: «Летит в пыли на почтовых». Ведь как ловко подмечено! Действительно, пылища была дьявольская. А кроме Пушкина ни один писатель не упомянул. Прямо замечательный поэт!

Он искренне любил Пушкина. Он бы за него каждому горло перервал.

И ещё вспоминается провинциальный Дон-Жуан. Он говорил своей даме:

— Вера Петровна! Вы Петровна. Цитирую Вам самого Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье».

Пушкин любил смех. Он бы на этого дурня не обиделся. Ведь и цитировали его в любовном восторге.

Любители порнографии переписывали друг у друга какие-то стишки и анекдоты и в оправдание себе говорили:

— Да ведь это же самого Пушкина.

Следовательно, вы с вашей критикой не суйтесь.

Они, значит, тоже высоко ставили Пушкина. Но так же бывало ещё и при жизни великого поэта.

* * *

Стихотворения Пушкина пошли в народ какими-то неизвестными путями. В мои детские годы народ был ещё малограмотный. Помню, под окном качался в люльке бородатый маляр, мазал стену и пел, убедительно выговаривая слова. Пел пушкинскую «Чёрную шаль». Только одну фразу подправил: верно, чтобы было жалостнее. Вместо «утёр я безмолвно кровавую сталь» пел «утёр я кроваву печаль». И такой убедительной грустью звучали эти слова. Он чувствовал, что поёт.

И ещё помню — в новгородской глуши деревенские девки пля-

сали «кадрель». Плясали без музыки, «в сухопляс», и сами пели тонкими комариными голосами. Пели:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца». 5

Отплясывали весело, отстукивали пятками.

И в распухнувшее тело
Раки чёрные впились. Ух, я!

Спрашиваем:

— Откуда это у вас?

— А кто его знает откуда. А что ж? Оно хорошее.

* * *

Много трудов потрачено на изучение творчества Пушкина. Люди жизнь просиживали, разбирая зачёркнутые слова, рукописи, подправки, варианты. Они хотели найти и установить «возбудитель» гениальности, искали его, как биологи ищут бактерию. Почему поэт сказал именно так, а не иначе, и почему так получается хорошо, а в новом, окончательном, варианте гениально. В чём дело?

И биологи, изучающие живой организм, все его клеточки и все функции этих клеточек, удивляются природе как гениальному разуму, создавшему совершеннейшую машину, но силу, вдунувшую в неё жизнь, то, что они называют энергией, познать не могут. Сказать слово «Бог» — не смеют.

И те, кто хочет найти секрет совершенства пушкинских творений, изучить, овладеть им и приспособить к своим нуждам, также останавливаются в недоумении, сознавая великую мистическую силу и не смея её назвать.

* * *

Давно-давно одной маленькой девочке подарили на ёлку коробочку в виде книжки. Бока золочёные, будто золотообрезная. А на крышке напечатано: «А. С. Пушкин. Стихотворения». Если крышку откинуть, то под ней, как в настоящей книге, несколько листов. Стихи Пушкина. А под ними шоколадные конфетки.

Стихи были подобраны для детской бонбоньерки довольно странно. Сначала:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны. ⁶

Потом «Рыцарь бедный» и, наконец, «Памятник». Было и ещё что-то. Немного. Несколько листков.

Но вот эти три стихотворения пронзили её на всю жизнь.

Когда эту девочку водили на Тверской бульвар играть с другими детьми, она брала с собой заветную коробочку, садилась против памятника Пушкина, глядела в это странное бронзовое лицо, словно потопленное в крутых завитках волос, в бакенбардах, в небывалых воротниках, и шептала дрожащим от благоговения голосом:

Я стал доступен утешенью,
За что на Бога мне роптать...,

— Ваше стихотворение, Пушкин.

Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать...,

— Ваше стихотворение, Пушкин.

Слово «свобода» наполняло душу неизъяснимым восторгом, который так и остался на всю жизнь. И она искала этой свободы на всех своих путях и в политике, и в искусстве, и в личной жизни; и свобода приходила лживая, лукавая, с ножом за пазухой. Под конец жизни девочка поняла, что и Пушкин указывал только путь, а птичья свобода не для нашей души.

И также искала она «Рыцаря бедного». И его бледный облик всегда оказывался маской. И жизнь проходила и прошла.

Он имел одно виденье
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему...,

— Ваше стихотворение, Пушкин.

Но самым удивительным казалось ей стихотворение «Памятник». Этот памятник был для неё как бы хаотическое прозрачно-замёрзшее облако, к которому тянулись тысячи тысяч рук, ожидая от него какого-то последнего несказанного и никем не слышанного слова. И какая-то светлая благодать исходила от этого видения. Когда девочка выросла и прочитала Достоевского, то думалось ей словами Мармеладова о Страшном Суде. Думалось, что вот протягивает Пушкин руки ко всем любившим его, и к мудрым критикам, и к пушкинистам, тщательно изучавшим хронологический порядок его учений, и к поэтам, мучающимся его красотой, и к девочке, лепетавшей ему о птичке. Он любил и понимал смешное. Он протягивает руки и говорит вот как у Достоевского: «Выходите и вы, пьяненькие, выходите, глупенькие, выходите, соромники, со

стишками и анекдотами, выходите, волокиты и картёжники, потому что все вы соединены любовью ко мне».

О нас, о русских, сказал Пушкин, что мы ленивы и нелюбопытны. Говорил о нас и много хуже. Мы злые, некультурные, жестокие, отсталые, плетёмся в хвосте у Европы.

Пусть. Но мы скажем: Господи, благодарим Тебя за то, что мы, тёмные, может быть, последние из последних детей Твоих, своё святое и единое умеем любить.

Недаром тёмною стезёй
Я проходил пустыню мира;
О нет! недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

— Ваше стихотворение, Пушкин!

Примечания

Печатается по изд.: Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1949. № 13582. 3 июля.

1. “Клеветникам России” (1831).
2. “На холмах Грузии лежит ночная мгла...” (1829).
3. “Опровержение на критики” (1830).
4. *Байи (Байльи) Жан-Сильвестр* (1736—1793)— французский политический деятель, писатель и астроном.
5. “Утопленник” (1828).
6. “Птичка” (1823).
7. “Козлову, по получении от него „Чернеца“ ” (1825).

КАК УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ

О. А. ЛАПТЕВА,

доктор филологических наук

В предыдущем номере «Русской речи» мы говорили о том, как ученые пишут. Теперь же посмотрим, как ученые говорят.

Действительно, ученым приходится не только много писать, но и много говорить. Та и другая их деятельность посвящена темам науки. В этом общее. А все остальное различается — и главное различие касается формы осуществления речи. Другое важное различие в том, что письменная речь не зависит от условий, в которых она протекает. На ней не отражается то, где, при каких обстоятельствах создано научное произведение, сразу или постепенно оно рождалось, писалось дома или на работе. А устная — зависит самым прямым образом. Если в письменной речи собеседник условен, он только предполагается, причем не всегда прямо, а обычно — как ее адресат, т. е. тот, кто станет потом ее читателем, то в устной речи этот собеседник присутствует непосредственно, хотя не всегда выступает именно как собеседник в диалоге, но чаще — как реальный (обычно — коллективный), а не условный адресат.

Можно вспомнить в связи с этим, что академик В. В. Виноградов различал две сферы общественной речевой практики — сферу массовой коммуникации и сферу ограниченной коммуникации. Наш случай — второй. Кроме того, говорят на темы науки в разных условиях — в учебной аудитории и в зале заседаний ученого совета, в своем институте или КБ и на конференции или симпозиуме, где собираются коллеги из разных мест и даже стран. Значит, и степень ответственности за сказанное различна. Одно дело вместе с соратниками по науке или учениками обсуждать еще не сформулированную окончательно истину или гипотезу. Другое дело выносить на суд самых компетентных специалистов в данной области знания результаты исследования. Поэтому и жанры устной научной речи различны: доклад не то, что лекция, выступление не то, что реплика, сообщение не то, что консультация. Заметим сразу, что во всех этих случаях независимо от их неодинаковости речь, как правило, не ораторская: у этой последней свое назначение и особенности, свои области применения. Здесь мы о ней говорить не будем.

Ученый, стоящий перед необходимостью что-то сказать на темы науки, невольно раздваивается. Как он выйдет из этого положения,

зависит от его личного умения. Но и язык дает свои рекомендации и даже готовые рецепты. В чем это раздвоение? С одной стороны, ученый привык писать и знает, как именно максимально сжато и точно сформулировать научное положение. Соответствующие автоматизмы у него «на пере» (об этом рассказано в нашей предыдущей статье «Как пишут ученые»). С другой стороны, он привык говорить в быту и владеет разговорной речью. Эти два типа речи — антиподы. Употребляемые в них средства разные. Сами предметы, требующие языкового выражения, тоже разные.

Что же делать? На первый взгляд, выход простой. Раз и письменная, и устная речь посвящены темам науки, надо говорить так, как пишешь, и достигнешь и точности, и ясности, и сжатости (еще добавляют: и последовательности, и логичности, и информативности). На практике, хотя и крайне редко, с такой речью встречаться приходится. По сути она ничем не отличается от чтения вслух. Но одно дело прочесть вслух художественный или публицистический текст, наделенный эмоционально-экспрессивной выразительностью, другое — текст научный с его насыщенностью отглагольными существительными, предложно-падежными, причастными и деепричастными оборотами, наконец, просто письменной символикой. Попробуйте прочесть вслух хотя бы тот научный текст, который приведен в нашей статье «Как пишут ученые», и вы сразу же почувствуете всю неестественность этого предприятия.

Ближе всего к подобному решению языкового вопроса стоит доклад. Он почти всегда опирается на письменный текст и нередко прочитывается: Но отрываться от написанного приходится и в этом случае. В других же жанрах просто следовать письменному тексту вовсе нельзя, и причин этому две, которые мы уже называли — форма речи и наличие собеседника. Устная форма речи предполагает пользование совсем иными психолингвистическими и нейрофизиологическими механизмами, чем письменная. Именно поэтому ребенка, освоившего в детстве устную речь, так нелегко в школе перевести на рельсы письменной (ведь по сути дела все обучение русскому языку в школе есть обучение письменной речи!). И поэтому же взрослого, освоившего письменную речь, легче научить читать на другом языке (ведь при этом имеешь дело с воспроизведением письменного текста), чем говорить по его законам. Наличие собеседника неукоснительно диктует задачу действенности речи, ее убедительности для слушателя, установления с ним речевого и мыслительного контакта. Как мы помним, это в задачи письменной речи не входит. А употреблять разговорную речь и вовсе нельзя, потому что она не способна выразить нужное содержание. Как же быть?

Собственно, перед этой же дилеммой стоит и тот, кто участвует в какой-либо телепередаче разговорного жанра (разница здесь в

тематике и в том, что адресат на этот раз не коллективный, а массовый). Да и сам литературный язык, особенно в последнее время, когда речь публичных выступлений становится все более и более массовым явлением, претерпевает определенные изменения. В нем как ответ на появившуюся потребность ускорился процесс складывания особой функциональной разновидности литературного языка — речи публичных выступлений. Речь на научные темы — частный случай этого типа речи. В ней в полной мере соблюдаются все особенности устного монолога, когда отношения между частями предложения могут не соответствовать письменной норме. Например, мысль может строиться так, что ожидание вывода из нее не оправдывается, и конечные части предложения уводят слушателя к иным ассоциациям. Бывает и так, что союзы употребляются лишь формально, вне соответствия с действительными смысловыми отношениями частей предложения. Возникает противоречие между языковой формой и смысловым содержанием. Например: «Кстати//если у вас есть возможность/найти/том//Большой Советской Энциклопедии второго/нет простите не второго/первого/издания//которое начало выходить в конце двадцатых годов/и вы возьмите там том бихевиоризм/то статья бихевиоризм/в этом первом издании/как раз и написана/Уотсоном». Нередко начальный союз (или союзное слово) из пары есть, а заключительного, второго, нет, ср.: «Решается ряд других вопросов/но к сожалению товарищи/*настолько* сегодня вопросы наши многообразны/и вот *настолько* сегодня уровень техники требует от нас совершенно другого класса/чем мы сегодня имеем».

В устной научной речи разных жанров могут присутствовать и собственно разговорные особенности, подобные тем, с которыми наш читатель уже знаком по статье «Говорят с телеэкрана» (Русская речь. 1993. № 5).

В письменной научной речи, как было показано в нашей статье «Как пишут ученые», широко употребляется специальная терминология, книжно-письменная лексика, отглагольные существительные, полупустые глаголы. В устной научной речи терминологическая лексика также употребляется (иначе страдала бы информативность и точность устного научного текста), есть и наименования-словосочетания, например *уровень обеспеченности стандартами технологии производства электрических машин малой мощности, карты обеспеченности нормативно-техническими документами производств; двусловные, вроде обрачиваемость средств, тренировочные упражнения, корреляционный анализ, болезнестойчивость растений, парк машин, перевооружение предприятий*, что роднит ее с письменной научной речью, на которую она должна опираться.

Однако часто термин заменяется местоимением или простым

словом. Это происходит как закономерность, в то время как в письменной научной речи этого почти нет. Книжно-письменная лексика в устной научной речи тоже есть, но она разбавлена словами общелитературными и даже разговорными. Устная научная речь не терпит большой концентрации книжно-письменной и терминологической лексики, ее задача — не давать информацию столь густо, как в письменном тексте, иначе есть риск невосприятия. Цепочки родительных падежей тоже есть, но в меньшем количестве и с числом членов не более трех (пример, приведенный выше, — редкость), в то время как в письменных научных текстах, напомним, и семичленные цепочки не удивительны. (Подробнее эти и другие особенности устной научной речи описаны в коллективной монографии в 4-х томах «Современная русская научная речь» (т. I — Красноярск, 1985; т. II — Москва, 1994; тт. III и IV в печати) под общей редакцией автора этой статьи.)

Выбор лексического средства далеко не всегда в устном тексте осуществляется со степенью точности письменного. Поиск нужного слова затрудняется нехваткой необходимого времени на обдумывание, невозможностью сделать слишком большую паузу и остановить продвижение речи. Поэтому любой, даже самый опытный, оратор не во всех случаях употребляет слова, точно соответствующие заданному смыслу.

Поскольку устный научный текст призван не только передавать информацию, но и воздействовать на слушателя, в нем много лексики стилистически сниженной, оценочной, разговорной, экспрессивной, чего в письменном научном тексте быть не может. Здесь много фразеологизмов, такой лексики, как *вранье*, *глупость*, *чепуха*, *абсурд* (один из лингвистов утверждает, что в разговорной речи — заметим, в разговорной, а не в устной научной — экспрессивно-отрицательной лексики больше, чем экспрессивно-положительной, причем эта универсалия справедлива для разных языков, а в нашем случае устная научная речь перенимает это свойство разговорной). Много таких сниженных слов, как *прикидка*, *затравка*, *переборщить*, *обсасывать*, часто встречаются *вещь* и *штука* без определенного лексического значения (как в разговорной речи). Особенно много оценочных наречий и прилагательных: *удивительная легкость*, *поразительная память*, *соблазнительный*, *схоластический*, *нашанный*, *огромный*; *необычайно*, *бурно*, *здорово*, *прекрасно*, *быстренько*.

В устном научном тексте складываются свои, только ему присущие формулы-стереотипы для выражения намерений говорящего. Для отсылки к прошлому: *я вам уже говорил*, *мы с вами уже говорили*, *вспомните*, *как вы уже знаете* (а в письменной речи вместо этого — *как указывалось выше*). Для отсылки к будущему: *подробнее я сам об этом расскажу позже*, *подробнее об этом пого-*

ворим позже (а в письменной — см. ниже, ниже будет подробно показано). При указании на последовательность изложения на месте письменного *рассмотрим, во-первых, во-вторых, итак, таким образом* возникает *теперь я перехожу, теперь я вам расскажу, сейчас мы с вами перейдем, первое вот что, второе вот что, я заканчиваю, на сегодня всё* и под. Употребляются и формы повелительного наклонения, которых нет в письменной речи (*запишите, посмотрите, представьте себе* и под.).

Если в письменной научной речи авторское «я» не употребляется и уступает свое место неличным, неопределенно-личным конструкциям и конструкциям с «мы», то в устной научной речи совсем не стесняются произносить *как я уже говорил, я считаю, я интегрирую* и под. Если доклад делает исследователь, он может рассказать о его личном опыте работы над проблемой, об истории его собственных научных поисков.

До сих пор мы говорили преимущественно о том, что различает письменную и устную речь. Теперь обратим внимание на пристрастия и капризы устной научной речи, еще на одно ее свойство, которое присуще ей как любой разновидности литературного языка — на избирательность в выборе того в языке, что может употребляться в любой сфере речевой деятельности, но на самом деле употребляется с ограничениями. Не в полном объеме представлена модальная и временная система глагола. В сложносочиненном предложении преобладают союзы *и, а, есть* и союз *но*, и все они формируют типы предложений лишь с определенными ограниченными значениями. Широко употребляется разговорная частица *вот*. В отличие от письменной речи в обеих частях сложносочиненного предложения часто бывают повторы. Что особенно характерно — простым предложениям письменной научной речи решительно предпочитаются сложносочиненные, лишенные причастных и деепричастных оборотов, столь любимых в простом письменно-научном предложении. А такие союзы, без которых не обходится ни один письменный текст, как *в то время как, если — то, однако* и частицу *же* здесь не любят (вместо последней употребляют *ведь*).

В области сложноподчиненного предложения наиболее употребительны некоторые типы с придаточным изъяснительным и определительным. Немногочисленны глаголы, вводящие придаточные изъяснительные, — *сказать, говорить, рассказать, знать, думать, показать, подчеркнуть, считать, видеть* (половина из них письменной научной речи не свойственна). Как и в сложносочиненном, здесь часто повторяются, дублируются члены предложения. Например, в главном и придаточном повторяется местоименное подлежащее, что не свойственно письменной речи: *Проблемы, которые стоят перед созданием этой системы, они разные эти проблемы*

(здесь получились сразу две разговорных конструкции: с именительным темы и добавления).

Что касается типов сказуемого, то здесь есть и глагольные, и глагольно-именные структуры, как и в письменной научной речи, но простых глагольных намного больше. Для сравнения можно сказать, что в разговорной речи глагольно-именных конструкций почти нет.

Причастные и деепричастные обороты, хотя и не так широко, как в письменной научной речи, но все же в устной научной употребляются. Но при этом обращает на себя внимание одна интересная особенность, связанная все с той же избирательностью: и причастные, и деепричастные обороты относятся не к любым, а только к некоторым словам. Деепричастные обороты чаще всего обладают значением обстоятельства образа действия и обстоятельства времени.

То же можно сказать о предложно-падежных сочетаниях. Они в устной научной речи имеют более простой состав, чем в письменной, не осложнены цепочками родительных и представлены лишь в ограниченном наборе. Чаще всего употребляются конструкции с *при*, причем опять-таки не со всеми, но лишь с немногими словами: *при изучении, при анализе, при исследовании, при решении, при рассмотрении, при описании, при сравнении, при обсуждении*. Такие обороты стали выражениями-клише, с придаточными они слабо соотносимы, зато в других случаях решительное предпочтение отдается придаточным.

Как видим, получается парадокс: более сложный синтаксис письменной научной речи насыщен простыми предложениями, а более простой синтаксис устной — сложными.

Что же получается? На арене устной речи (научной и на другие темы) разворачивается увлекательная борьба — конкурируют устно-разговорные и книжно-письменные средства. Как ее результат возникают свои способы организации текста, отбираются свои излюбленные языковые средства. Так язык решает возникшую антинормию между двумя принципиально различными стихиями, скрестившимися в одной сфере литературного выражения. Так он отвечает на все более укрепляющуюся в обществе потребность выработать функциональную языковую разновидность, адекватную складывающемуся особому типу коммуникации. Языковеды предполагают, что в ближайшем будущем развитие литературных языков будет связано главным образом с развитием их лексико-семантических, синтаксических и стилистических систем.

О “раскавыченных” цитатах

*Н. А. ЕСТЬКОВА,
кандидат филологических наук*

Кавычки используются в русском письме в разных функциях. «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г. сводят все к трем основным случаям: 1) выделение цитат или прямой речи; 2) выделение слов, употребляемых не в своем основном значении или иронически; 3) выделение названий.

В первой функции кавычки являются знаком препинания. При выделении названий кавычки выступают в роли, аналогичной роли прописных букв. В первой и третьей функциях употребление кавычек регулируется достаточно строгими правилами и лишено выразительности.

Вторая функция противостоит им как яркое экспрессивное средство. Употребление кавычек в этом случае не может быть строго регламентировано, открывая возможность для проявления индивидуальности пишущего. Известно, что неопытные авторы злоупотребляют кавычками.

Данная заметка ставит целью обратить внимание на то, что в выразительных целях может использоваться ... отсутствие кавычек — там, где они по правилам строго обязательны. Речь идет об опущении кавычек, выделяющих цитаты. Естественно, что эффект «раскавычивания» может использоваться только по отношению к известным цитатам, которые, по мнению автора, читатель должен узнать. Ясно, что это сознательный прием, своего рода игра.

Следующие далее иллюстрации можно рассматривать как своего рода викторину (примеры пронумерованы для соотнесения с последующим комментарием). Среди лишенных кавычек цитат есть переданные не вполне точно, а некоторые случаи приближаются к перефразированию.

1. «... ведь если петь романсы на слова Фета, нужно, чтобы рояль был весь открыт и чтобы струны в нем дрожали» (Д. Урнов. Неизбежность выбора // Лит. газета. 1982. 25 августа). 2. «Вообще-то основания для этого [создания санатория] имеются: целебный горный воздух, редчайшие минеральные источники, кругом горы, где гуляют лишь туманы да цари-орлы» (Известия. 1984. № 118). 3. «Это, значит, тетя Граня, барахлишко — побоку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах родины чудесной, закаляясь

в битвах и труде» (В. Астафьев. Печальный детектив//Октябрь. 1986. № 1). 4. «... так на приеме в посольствах объясняют вполголоса, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит» (В. Гроссман. Добро вам!//Знамя. 1988. № 11). 5. «Тогда легче будет следить кочующие караваны в пространстве брошенных светил» (Л. Баткин. Беззаконная комета//Нева. 1989. № 11). 6. «... такими комплиментами можно и просто убить. Одного когда-то уже убили — и не только враги. Я имею в виду Владимира Высоцкого ... А потом уже пошел пустых похвал ненужный хор: поэт, пророк, прораб перестройки!» (Вл. Новиков//Лит. газета. 1990. 18 июля). 7. «Он не задавался и не форсил. Он не сознавал, что для своих лет, а тем более для лица, в котором он безмятежно расцветает, он знает слишком много, и отнюдь не гордился этим» (Ю. Нагибин. Пашалев//Лит. газета. 1991. 4 сент.). 8. «Так вот, если ораторам на трибуне было не дано предугадать, как их слово отзовется, то мне это становилось ясно в ту же минуту» (Л. Графова//Лит. газета. 1993, 12 мая). 9. «Начинающего, но истинного патриота исследования пабов ждут и другие откровения. В частности, опыт, сын ошибок трудных, показывает, что английское законодательство предусматривает все, включая и употребление гражданами алкоголя на территории государства» (С. Мостовщиков//Известия. 1993. 14 мая). 10. «... учитель, придумавший оригинальную методику, сочинивший учебник, уже получивший широкое хождение, перед начальством не гнет ни помыслов, ни шеи...» (И. Овчинникова//Известия. 1993. 25 мая). 11. «Но есть еще Божье дело любви: восходы и закаты, и Моцарт на воде, и Шуберт в птичьей гаме, и музыка взглядов и прикосновений...» (Г. Померанц//Лит. газета. 1993. 11 августа). 12. «России, для того чтобы воспрянуть, нужны две вещи: большая беда и общий враг. Эта полусутка-полуистина была одной из самых популярных в конце веселых застойно-застольных лет. Вот час настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит. Что же касается общего врага, то и его поиски, кажется, наконец увенчались успехом» (С. Бобровский//Лит. газета. 1993. 8 дек.). 13. «За дружеской беседой, вспоминая битвы, где вместе рубились они, Ельцин и предложил Петрову оставить отнюдь не бесконфликтный пост главы его администрации и заняться тем, что он пожелает» (Известия. 1994. 2 июля).

В заключение — несколько примеров из Леонида Лиходеева, который «раскавычивание» цитат применяет давно и постоянно, так что это воспринимается как примета его индивидуального стиля. Все они из цикла его «подвалов» в «Известиях» конца 1993 года: «Болезнь эта непременно требует зрительской аудитории. Она как бы постоянно втолковывает: никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна» (23 окт.); « — Ну а как же, — говорю, — мечты и звуки? Как же, — говорю, — акварельные потребности души? — А это сколько угодно после работы. Землю попашем — напишем стихи. А то

у нас поэт больше, чем поэт, а корова меньше, чем корова. Вроде козы. Оттого и партий больше, чем коров.— Ну а как же,— говорю,— насчет нашего особого пути? — Никто,— говорит,— пути пройденного у нас не отберет» (27 окт.); «Это про него зафиксировано в одном стихе: а жизнь, если глянуть с холодным вниманием вокруг,— такая пустая и глупая шутка» (3 ноября); «Мы же сами не знаем, какого нам надо. Честно говоря, никакого нам не надо. А нам надо постоянно гудеть, ибо кипит наш разум возмущенный» (24 ноября).

Все ли цитаты вы узнали? Проверьте себя в следующих комментариях:

1. Не вполне точная и несколько «трансформированная» цитата:
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песню твоей.

Фет. Сияла ночь. Луной был полон сад...

2. Неточная цитата:

Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.

Лермонтов. Спор

3. Еще не забытые старшим поколением слова песни «О великом друге и вожде». Автор — Алексей Сурков.

4. Точная цитата (см. «Евгений Онегин», гл. 8, строфа XVII).

5. Точная цитата (см. начало «Демона»).

Интересно, что название статьи — тоже точная цитата:

...И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Пушкин. Портрет. 1828

6. Точная цитата (см. «Смерть поэта»).

7. «Переделанная» цитата:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...

«Евгений Онегин», начало гл. 8

8. «Переделанная» цитата:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Тютчев

9. Точная цитата из стихотворения Пушкина (1829 г.), приобретшего широкую известность благодаря передаче «Очевидное — невероятное»:

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

Любопытно, что последняя строка появилась в эпитафии к передаче только в годы перестройки...

10. Точная цитата:

Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
Пушкин. Из Пиндемонти

11. У Мандельштама:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе...

Остается гадать, сознательно или случайно переиначил цитату автор.

12. Цитата почти точная:

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит...
Блок. Скифы

13. Точная цитата из «Песни о вещем Олеге».

«Смесь цитат», фигурирующая у Лиходеева, очевидно, не нуждается в комментариях.



НОВЫЕ СЛОВА ... «АДВЕРТАЙЗИНГА» *

С. В. ПОДЧАСОВА

«Туризм и спорт» — так условно назовем мы следующую группу новых слов, активно используемых рекламой.

Бодибилдинг, Бодибилдер. «Бодибилдинг как вид спорта у одних вызывает восхищение, у других — неприятие, но никого не оставляет равнодушным. Это и понятно — ведь речь идет о красоте человеческого тела» — этот сочувственный комментарий появился в ежемесячной газете «Эхо/Echo» (1994. № 7). Использованное здесь новое слово зафиксировано пока лишь «Современным словарем иностранных слов» (М., 1992): «Бодибилдинг [*англ.*] *body-building* — телостроительство] — то же, что культуризм». В свою очередь культуризм описывается как «система физических упражнений с различными отягощениями (гантелями, штангой и др.), имеющая целью развитие мускулатуры». При этом отмечено, что этимолоном слова является французское *culturisme*.

Таким образом, мы вновь имеем дело с заменой одного заимствования на другое, более престижное (ср. *модельер-кутюрье*). А поскольку речь идет о названии вида спорта, произошла характерная замена галлицизма на англицизм.

Возвращаясь к словарным данным, нужно отметить неточность

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1995. № 2.

буквального перевода английского слова *bodybuilding*, точнее, второй его части. Действительно, основное значение *to build* — «строить, сооружать», и потому *building* может означать «строительство». Но глагол *to build* обладает также значениями «укреплять (здоровье), наращивать, накапливать», а *building* соответственно означает «укрепление, накопление, наращивание». Поэтому было бы логичным, на наш взгляд, перевести *bodybuilding* сочетанием «укрепление тела».

Итак, культуризм стал ныне *бодибилдингом*, а культурист или культуристка — *бодибилдером*: «Джин Миллер — бывшая гимнастка и *бодибилдер*» (Домовой. 1994, март).

Ваучер (туристический). Начнем с примера: «Международная туристская компания „Москва“ предлагает: паспортно-визовые услуги, продажа индивидуальных туристических ваучеров, авиа и ж/д билетов» (Веч. Москва. 1994. 2 марта).

Приводя это рекламное объявление, мы фиксируем вхождение в язык средств массовой информации очередного значения английского слова *voucher*. До сих пор широко известным было лишь значение: *ваучер* — «приватизационный чек, то есть «государственная ценная бумага (на предъявителя), с указанной номинальной стоимостью, выдаваемая гражданам для реализации в процессе приватизации предприятий, их подразделений и др. объектов собственности» (Современный словарь иностранных слов).

Между тем *ваучер* это также и «документ, удостоверяющий оплату товаров и услуг, выдачу кредита, получение денег и т. п.» (там же).

В целях же определения значения появившегося в прессе словосочетания *туристический ваучер*, обратимся к Новому англо-русскому словарю. Здесь среди фразеологизмов со словом *voucher* названы: «*hotel voucher* — книжечка (или путевка) с отрывными талонами для проживания в гостинице (оплаченная в турбюро)» и «*meal voucher* — курсовка на питание (оплаченная в турбюро)».

Можно предположить, что сочетание *туристический ваучер* имеет одно из этих значений. Какое именно — не позволяют заключить ни достаточно размытая внешняя форма, ни неопределенный контекст.

Веложорты — этот неологизм стал 32-м словом с продуктивным компонентом *VELO-* (см. Сводный словарь русского языка). Имеет значение: «облегающие фигуру шорты, удобные для велосипедной езды». Газетный пример: «Супермаркет „Антарис“ начинает летнюю распродажу спортивной одежды (спортивные костюмы, брюки, ветровки, футболки, *веложорты*...)» (Веч. Москва. 1994. 6 июня).

Каллопинг. Значение нового слова объясняется в рекламном материале Ю. Гаврилова «Спортивные комплексы», помещенном в журнале «Домовой» (1993, сент.): «Столько же стоит здесь

позаниматься и *каллопингом* — разновидностью шейпинга, приводящей в действие глубоко расположенные мышечные группы» (о слове *шейпинг* — см. дальше).

Что касается этимологии заимствованного слова *каллопинг*, то, поскольку английских слов с аналогичной транскрипцией не зафиксировано доступными нам словарями, мы можем лишь строить предположения: например, о возможной связи заимствования *каллопинг* с английским *galloping* «несущийся, делающий что-либо очень быстро».

Кикбоксинг, кикбоксер. Слово *кикбоксинг* было помещено Л. П. Катлинской в словарь актуальной лексики, где оно объяснялось как «вид единоборства, включающего элементы бокса (руки) и карате (удары ногами)» (Русская речь. 1993. № 5. С. 56).

Добавим, что ранее в русском языке, вернее в нашем спортивном жаргоне, существовало слово *кик*, означавшее «неудачный удар по мячу в футболе». Английский же этимон *kick* имеет основное значение «удар ногой». Именно в этом смысле и используется компонент *кик* в слове *кикбоксинг*: «Здесь и ного-кулачные мордобития *кикбоксинга*, и кровавые сцены фильмов ужасов» (Красная Звезда. 1992. 30 янв.).

Новое слово вошло в употребление в начале 90-х годов и почти сразу же в печати появилось образованное от него производное *кикбоксер*: «Вот и в фильме „Не отступать, не сдаваться!“ эти мерзавцы все обижают и обижают начинающего *кикбоксера*» (Моск. комс. 1992. 29 июля).

Лифтинг. Как сообщалось в мартовском номере журнала «Домовой» за 1994 год, «основательница сети салонов Lady Ann г-жа Анна-Мария Урутия продемонстрировала собравшимся на презентации процедуру *лифтинга*, используя новую маску для устранения такого распространенного недуга, как второй подбородок». «Лифтинг, — пояснялось далее, — нехирургическая подтяжка уставшей, стареющей кожи лица путем стимуляции лицевых мышц».

Таким образом, мы регистрируем появление еще одного заимствования, оканчивающегося на *-инг*, имеющего косвенное отношение к спорту, но самое прямое — к физической культуре (в буквальном смысле). Заметим, что достижение физического совершенства — главная цель занятий *каллопингом*, *шейпингом*, а также *бодибилдингом*.

Растамаживание (растаможивание). Слово появилось в печати первоначально в первом варианте, в основном, в рекламных объявлениях: «Туры в Германию: за нормальные цены — растамаживание — комплекс услуг» (Веч. Москва. 1994. 2 марта); «Путешествуйте с нами. МКО „Садко“. Скидки детям и группам. Медстраховка, *растамаживание грузов*» (Аргументы и факты. 1994. № 31).

Но чуть позже слово приобрело несколько иной внешний вид, и в газете «Центр» (1994, сент.) мы встречаем написания «услуги по *растаможиванию* автомобилей», «растаможенная Volvo» и т. п.

Что касается значения нового слова, то оно легко выводится из значения производных (*таможня, таможенный*) и лексического значения аффиксов: «Таможня — учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и взиманием пошлин, сборов». В соответствии со значением приставки *рас-* в данной словообразовательной модели («обратное действие»), а также с данными газетного контекста, *растаможивание/растаможивание* (второй вариант кажется более логичным) — функция улаживания проблем с таможней, взятая на себя организацией.

Сервис-центр. Не зафиксированное словарями русского языка сложносоставное слово *сервис-центр* дает нам повод поговорить о первой его части — компоненте *сервис-*. Слово *сервис* является одним из характерных представителей тематической группы «Туризм и спорт». Слово *сервис* впервые зафиксировано в русском языке в 30-е годы. В Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова пояснялось следующим образом. «*Сервис*¹... Действие по глаголу сервировать — подача мяча...»; *сервис*² — совокупность учреждений и мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и созданию всевозможных удобств для него...»

Теперь заглянем в Словарь современного русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, вышедший в 1993 году. Здесь *сервис* — «то же, что обслуживание (в 1 знач.)». Приведем первое значение слова «*обслуживание*: «Работа по удовлетворению чьих-нибудь бытовых, текущих или постоянных нужд».

Действительно, очевидна возможность взаимозаменяемости слов *сервис* и *обслуживание* (во втором примере — *туробслуживание*) в следующих рекламных объявлениях: «Многочисленные отели с безукоризненным *сервисом* привлекают сюда тысячи отдыхающих со всех концов света» (Открытый мир/Туризм и отдых. 1994. №№ 1—2); «Фирма „Делекс“ предлагает: *туробслуживание*, завтрак, бассейн, кондиционер, трансферы» (Центр. 1994. 7 февр.). Вместе с тем слово *сервис* практически не используется в значении «совокупность учреждений...» и т. д.

Фиксируя произошедшие семантические перемены, попытаемся в первую очередь ответить на вопрос: что же теперь позволяет иностранному слову *сервис* найти свое место в ряду русских слов? На наш взгляд, основным преимуществом заимствования *сервис* стало именно его иноязычное происхождение, все еще ощущаемое носителями русского языка (несмотря на замену начального твердого *с* на мягкий звук). Таким образом, стилистически невозможно поставить знак равенства между словами *сервис* и *обслуживание, услуги*. Без оттенка престижности, привносимого иностранным сло-

вом, следующий пример показался бы тавтологией: «Фирма *торгово-сервисного* обслуживания „Москва — Подольск“ предлагает широкий ассортимент швейных машин» (Веч. Москва. 1994. 27 мая).

Напомним также, что слово находится в тематической группе, для которой особенно характерны англицизмы. Значительное увеличение актуальности слова *сервис* открыло новый этап в процессе его взаимоотношений с английским этимолоном, а именно — произошло и продолжается до сих пор заимствование широкого спектра значений слова *service*. При этом речь идет не только об оттенках значения, отраженных в словарях, справедливо названных Г. В. Колшанским «всего лишь лингвистическими абстракциями» (Контекстная семантика. М., 1980. С. 129), но прежде всего о функционировании слова в речи. Мы можем наблюдать появление слова *сервис* в таких именно контекстах, которые свойственны английскому *service* и неожиданны для русского языка: «*Сервис* (отеля) включает кондиционеры, мини-бары, круглосуточное обслуживание, комнаты для некурящих, гаражи» (Домовой. 1994, янв.); «Для дома и офиса незаменимый помощник телефон-компьютер в импортном корпусе на импортных комплектующих с широкими *сервисными возможностями*» (Веч. Москва. 1994. 9 июля).

Семантические движения в слове *сервис* связаны также с формированием новых узкоспециальных значений, также обязанных своему происхождению иноязычным контекстам. Приведем в качестве примера определение из коммерческой терминологии: «Сервис — подсистема маркетинговой деятельности предприятия, которая обеспечивает комплекс услуг, связанных со сбытом товаров и услуг, эксплуатацией транспорта, оборудования и другой промышленной продукции» (Словарь-справочник предпринимателя „Деловой мир“. С. 211). Заимствовано из английского и составное наименование *сервисная станция* (*service-station*): «Сервисная станция предлагает клиентам всего за 10 минут автоматизированную мойку и сушку автомобиля системы EURO-COMB» (Домовой. 1993, сент.).

Такс-фри, такс-фри-шоппинг. От английского выражения *tax-free* «освобожденный от налогов», пока существующего в русской речи на правах иноязычного вкрапления, часто появляющегося в транслитерации языка-источника: «Во всех магазинах покупатели получают *tax-free* чеки, что позволяет им сэкономить около 12% (макс. 16%) от покупки стоимостью свыше FIM 100. При выезде из страны по этому же чеку туристам возвращают деньги» (Открытый мир/Туризм и отдых. 1994. №№ 1—2).

В нашей прессе употребляется в аналогичном значении также выражение *такс-фри-шоппинг*, где *шоппинг/шопинг* — варианты русского написания английского слова *shopping*, обозначающего

«посещение магазина с целью покупки»: «При покупке в Норвегии товаров необходимо предъявить иностранный паспорт. Выписывается чек „такс-фри-шоппинг“. При выезде по чеку скидка выплачивается наличными» (Престиж-клуб. 1994. 3—10).

Трансфер. В таком виде известный финансовый термин *трансфер* (от английского transfer), или же *трансфёрт* (от французского transfert), появился в рекламных публикациях. Как вполне характерно для данного тематического круга («туристической» лексики), на вооружение был взят именно англицизм, причем его форма за счет переноса ударения на первый слог заметно приблизилась к оригиналу. Из множества значений финансового термина в «адвертайзинге» туризма используется лишь следующее: «перевод денег из одной страны в другую, из одного банка в другой». Например: «Отдых. Канарские острова... Страховка, авиабилеты, *трансфер*» (Аргументы и факты. 1994. № 14).

Активно функционируя в языке рекламы, *трансфер* стало появляться здесь не только в форме единственного, но также и в форме множественного числа, ранее отсутствовавшей у этого слова в русском языке: «Отдых в Болгарии. На курорте „Солнечный берег“. 15 дней, полупансион, авиабилет, *трансферы*» (Рекламный вестник. 1994. 24—30 июня); «Фирма „Делекс“ предлагает. Туробслуживание: завтрак, бассейн, кондиционер, *трансферы*» (Центр. 1994. 7 февр.).

Продолжение следует

Надежда
Захаровна
Котелова
(1925—1990)

*Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук*

Доктор филологических наук Надежда Захаровна Котелова не создавала школьных или вузовских учебников, не преподавала в вузах — она работала в научно-исследовательском, академическом институте, занималась теоретической и прикладной наукой и в сфере своих научных интересов оставила заметный след.

Надежда Захаровна прожила жизнь современного русского ученого — в неустанном труде и при скромном достатке. В годы войны ей пришлось трудиться на строительстве оборонительных укреплений под Гатчиной (она в ней родилась и жила), а в эвакуации — в тракторном отряде. Она училась в Свердловском и Московском университетах, в аспирантуре при Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР — и проработала в нем около 40 лет.

В аспирантуре (под руководством члена-корреспондента АН СССР Е. С. Истриной) определились те две основные научные проблемы, разработке которых она посвятила свою научную жизнь: первая — лексико-синтаксическая сочетаемость слов в современном русском языке, вторая — толковая лексикография. Первой теме были посвящены ее кандидатская (о синтаксической сочетаемости) и докторская (о лексической сочетаемости) диссертации. Итогом научной разработки этой единой (в двух ипостасях) темы явилась ее книга «Значение слова и его сочетаемость» (1975). Сочетаемость слов Н. З. Котелова рассматривала как синтаксические и лексические свойства слова, реализуемые линейно и регулируемые языковой нормой (на грамматическом уровне это сочетаемость с формами, на лексическом — сочетаемость с конкретными словами).

Показать эти свойства конкретного слова — одна из задач толковых словарей, фронтально описывающих русскую лексику. Так первая тема (проблема сочетаемости) органически слилась в творческих исканиях Надежды Захаровны со второй — лексикографической.

По складу своего ума, по своим научным интересам Надежда Захаровна тяготела к исследованию одной из кардинальных проб-

лем языкознания — проблемы обоюдозависимой связи мышления и языка. Отсюда ее внимание к эвристическому, познавательному использованию данных языка, к логико-грамматическому уровню в языке, к системности в языке — все эти проблемы отражены в ее теоретических работах.

Однако наибольший след Н. З. Котелова оставила в лексикографии — теории и практике создания толковых словарей языка. Лет пятьдесят назад член-корреспондент АН СССР В. И. Чернышев высказал странную на первый взгляд мысль: язык без словаря неизвестен. Мысль образная, но справедливая: живая, устойчивая лексика устной речи и письменных текстов аккумулируется в толковых словарях, именно словари — ее собиратели и хранители. Именно словари и грамматики овеществляют, высвечивают языки, делают их доступными научному осмыслению.

Н. З. Котелова была одним из авторов и редакторов семнадцатитомного академического «Словаря современного русского литературного языка» (1948—1965), являющегося вершиной русской толковой лексикографии.

В 60-х годах Надежда Захаровна основала новое лексикографическое направление: по ее идеям, под ее редакцией, при ее организационном руководстве и авторском участии начали создаваться словари лексических, семантических и фразеологических новообразований — словари неологизмов.

Еще в 1927 г. будущий академик Л. В. Щерба высказал мысль о том, что Академия наук время от времени должна выпускать дополнения к академическому «Словарю русского языка», в котором содержались бы новые лексико-семантические приобретения языка.

Это общее и давнее пожелание, эту насущную необходимость Надежда Захаровна реализовала, разработав систему неологических словарей.

Во-первых, это ежегодные словари серии «Новое в русской лексике», вобравшие в себя все — без отбора — неологизмы, обнаруженные в определенном круге источников за определенные месяцы года (при жизни Надежды Захаровны было опубликовано 8 таких выпусков — за 1977—1984 годы и приготовлены к печати еще несколько, не дошедших до читателя в силу нынешних обстоятельств внешнего порядка). Словари-ежегодники, неизбежно составляемые на речевом уровне, при их сопоставлении с более поздними нормативными словарями наглядно показывают, что только малая часть лексико-семантических новообразований со временем становится языковыми единицами, большая же их часть — слова и выражения, обслуживающие разовые потребности носителей языка, т. е. только незначительная часть неологизмов «прорывается» в литературный язык. Это обстоятельство документально и по-новому освещает живое функционирование лексики (еще раз напомним

образное высказывание В. И. Чернышева: «язык без словаря неизвестен»).

Во-вторых, это словари, содержащие лексико-фразеологические новообразования, вследствие своего неоднократного (а тем более — регулярного) употребления в рамках энного количества лет вставшие на порог языковых единиц или ставшие ими. Таковы словари-десятилетники «Новые слова и значения» 60-х, 70-х, 80-х годов.

Наконец, третий тип неологических словарей — тот, который, собственно, и имел в виду Л. В. Щерба: словарь, охватывающий ряд десятилетий, содержащий устоявшуюся новую лексику и базирующийся на нормативной основе. Таким словарем стал «Словарь новых слов русского языка», отразивший лексико-семантические приобретения послевоенного времени до так называемой перестройки (выход словаря в свет ожидается в этом году).

Эти типы неологических словарей соответствуют тем ступеням, которые — полностью или частично — проходят новые слова — от их первого появления до приобретения ими (точнее — частью их) статуса языковой единицы.

Новинкой, внесенной Н. З. Котеловой в русскую лексикографическую практику (имеются в виду толковые словари), явилось обязательное указание на словообразовательное происхождение слова. Надежда Захаровна исходила из того, что исторически сложившаяся словообразовательная системность и образование конкретного слова не всегда совпадают. Она стремилась зафиксировать рождение нового слова в том словообразовательном виде, как это конкретно произошло на глазах носителей языка, что еще раз подчеркивает исторический характер наших неологических словарей.

Доктор филологических наук Надежда Захаровна Котелова заложила основы русской неографии. И теперь трудно представить, что еще не так давно словарей новых слов у нас вообще не было. Русская неография прочно встала на ноги — и в первую очередь благодаря Надежде Захаровне и ее сотрудникам.

Санкт-Петербург



**Необыкновенные приключения Климента,
папы Римского,
как о них рассказано
в Макарьевских Великих
Минях Четиих ***

*Е. М. ВЕРЕЩАГИН,
доктор филологических наук*

Мы с вами в прошлый раз оставили Климента, молодого ученика первоверховного апостола Петра, в тот момент, когда он вместе со своей чудесно обретенной матерью Маттидией взошел на корабль, чтобы вернуться в Палестину.

Радость нашедших друг друга Маттидии и Климента беспредельна! Она, правда, омрачена тем, что, видимо, погибли как глава семьи — Фавст, так и два сына-близнеца — Фавстин и Фавстиниан.

В прошлых публикациях говорилось о том, что без малого двадцать лет назад Маттидия с Фавстином и Фавстинианом отправилась из Рима в Афины, а Фавст и Климент остались на берегу. Вот мать и спрашивает Климента, что же случилось с ее мужем и его отцом. Не забудьте, что повествование в «Слове похвальном Клименту» ведется от первого лица, от лица Климента (тексты печатаются по

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1995. №№ 1, 2.

рукописи ГИМ под шифром Син. 988. Лл. 1195^в, I, 13—25; 29 — II, 35; II, 36 — 1195^в, I, 10; I, 37 — II, 11; II, 11—37; 1196^в, I, 3 — 1196^в, II, 25).

...Вопрошаше мене мати: «Како», рече, «отец пребывает?»

И аз рех: «На взыскание [на поиски] тебе и брату моею ишед и необретаем есть. Мню [думаю] же от продолжения [здесь: по прошествии стольких лет] скончатися ему [что он скончался],

или в испровержение [кораблекрушение] впадша,

или на пути заблужьша [заблудившись],

или от печали изгибша».

Она же слышавши, зело слезна бысть [много плакала], и о сем убо въздыхаше, о моем же обретении радующися.

Климент находит своих близнецов-братьев

Итак, мореплаватели направлялись в Палестину. Сначала, однако, корабль бросил якорь в финикийском городе Лаодикии. Там у ворот города апостола Петра уже ждала — заранее извещенная — группа учеников, среди которых были и два брата-близнеца, — одного звали Никитис, то есть Никита, а второго — Акила. Климент был хорошо знаком и дружен с ними.

В том фрагменте, в котором рассказывается о встрече Климента с Никитой и Акилой, близнецы-братья часто действуют совместно, и поэтому в древнерусском тексте употребляется особое грамматическое число — двойственное: например, *ведоста, обитаста, вопрошаста* — это значит «они вдвоем повели нас», «они двое обитали», «они оба спросили», *тема, она* — «тем двоим», «они оба» и т. д. Таким образом, в отличие от современного языка древнерусский грамматически выражал не два числа, а три — единственное, двойственное и множественное.

В другии же день приидомом [пришли] в Лаодикию. И се пред враты сrete [встретил] на [нас] Никитис и Акила. И, облобызавше [приветствовав], ведоста [повели] ны в дом, идеже [где] обитаста [обитали].<...>

Никитис же и Акила вопрошаста [спросили] мене: «Кто се есть странная [незнакомая] си жена?»

И аз рекох [сказал]: «Мати моя, юже [которую] познати ми Петром господином моим [здесь: с помощью моего господина Петра] Бог дарова».

Си мне рекшу [когда я сказал это], Петр все тема [тем] по ряду поведати начя, яже прежде от мене слышя, и матернее [здесь: рассказ матери],

еже от сониа самотворныя вины [здесь: о том, что было вызвано сном],

с близнятема чядома отшествеие,

и мене оставша у отца,

и отчее отшествеие на взыскание.

Сим убо реченном от Петра [*когда Петр рассказал об этом*], Никитис и Акила дивястася [*удивились*], глаголюще: «Владыко Господи всяческым, истинна ли сие, или соние [*сон*]?»

Петр же рече: «Аще не спим, то истина есть».

Она [*они*] же, мало пождавше и в смысле бывше, рекоста [*сказали*]: «Мы есме Фавстин и Фавстиниан. Исперва убо тебе повесть творящу, на ся взирающе беяхом [*взглядывали друг на друга*]. Многа подобна, яже в житии бывшаа слышахом, молчяхове [*молчали*], еда како [*как будто*] не о нас суть глаголемаа [*не о нас говоримое*] помышлях. Егда же к концу поведаных, уразумех [*понял*], яко истинна суть».

И се рекша, со слезами внидоста [*вошли*] к матери и обретоша ю [*ее*] спящу. И уже охипитися ей хотящу [*когда они хотели ее обнять*], Петр же возбрани има:

«Не деите» [*здесь: подождите*], рече, «аз вы представлю, еда како внезапно от многыа радости в ужасть ума внидет [*сойдет с ума*], понеже сытость сна имяше [*поскольку крепко спала*] и дух от сна непразден имущи [*дух ее от сна помутился*]».

Итак, вот еще одна совершенно невероятная встреча, еще одно неправдоподобное узнавание в «Слове». Средневековая ментальность жаждала чудес, и, стало быть, никого не интересовала обыденная жизнь, а чудеса были, так сказать, в порядке вещей.

Одновременно психологические подробности — вполне достоверны. Когда первоверховный апостол пересказывает историю бедствий Климента и его семьи, Никита и Акила сначала недоуменно, а потом понимающе переглядываются между собой,— перед нами вполне реальная деталь, свидетельствующая о том, что безудержная фантазия автора романа все же сочеталась с земной наблюдательностью и не была совсем оторвана от жизни. О знании жизни свидетельствует и вложенное в уста Петра замечание о том, что нельзя обрушивать чрезвычайное, пусть и радостное, известие на человека, который еще не пришел в себя спросонья, да еще к тому же и старого,— иначе у него, по присловью, зайдет ум за разум. Петр обещает Никите-Фавсту и Акиле-Фавстиниану постепенно подготовить Маттидию, только что обретшую младшего сына и еще не отошедшую от потрясения, к новой чудесной встрече. Он отсылает их в соседнюю комнату, откуда им, впрочем, вполне слышна последующая беседа...

Апостол Петр проводит катехизацию Маттидии

Итак, когда Маттидия проснулась, Петр начинает издалека...

Маттидия — язычница, а Климент — уже христианин, а в те времена разделение между язычниками и христианами было настолько прочным, что, скажем, сын-христианин не имел права сесть за один стол с матерью-язычницей. Петр желает привести Маттидию к

христианству, и он рассказывает ей о религии последователей Иисуса из Назарета, то есть, на церковном языке, оглашает (наставляет) ее. С древнейших времен и до сих пор христианином можно стать только после того, как закончилось это наставление-оглашение (по-гречески: катехизация).

Воставши же матери [когда мать встала], Петр начят к неи глаголати:

«Поведати ти хошу, жено, нашае веры житие. Мы единого Бога чтем [почитаем], сотворшаго весь мир. Того храним закон преданный:

еже Того чести [почитать] единого
и Того свящати [освящать] имя;
почитати же родителя;
целомудрити;
жити правостию [праведно].

К сему трапезы [здесь: застолья] поганых [язычников] не приемлем, ясти [есть] с ними не могуще [не можем], понеже [потому что] нечисте живут».

«Егда [когда] же я [их] покорим, крестивши я [их] в треблаженное некое именованье, тогда с теми водворяемся. Ты же убо не ругание мни [не считай обидой], еже не ясти тебе с сыном [что тебе не придется есть (за одним столом) с сыном], дондеже тогова [пока так] и творити и мыслити начнеши».

В ответ Маттидия выражает свою полную готовность немедленно креститься.

Фавстин и Фавстиниан открываются своей матери

Маттидия уверяет Петра, что уже давно отреклась от языческих так называемых богов («глаголемых моих бог отрекохся») и что она всегда была целомудренной («егда во благоденьствии живях, целомудрена бывши; в напастех сущи, к сластем себе не отдах»). К слову она вспоминает, что именно за целомудрие ее горячо любил муж («зело бо от целомудриа любя мя»), о котором она скорбит до сего дня. Сетует она и о двух своих детях, погибших во время кораблекрушения, — «сетую двою чяду моею, иже в мори умерше».

Ну, тогда Фавстин и Фавстиниан, сидевшие в соседней комнате и всё слышавшие, больше не выдерживают! Они начинают действовать (причем вдвоем, так что постоянно употребляется двойственное число).

Отрока же слышаста, к тому терпети не могоста, но вставше скоро, с велием [великим] плачем обоимаста [обняли] ю [ее], любезно [здесь: горячо] лобызающе. Она же недоумевшия: «Что се, рече, «хощеть быти?»

Отвещав же Петр: «О жено, устави крепце [укрепи] ум свои, да своа восприимеши чяда. Се бо еста Фавстин и Фавстиниан, сына твоя, ихже глаголеши в мори умершя [о которых ты говоришь, что они умерли в море]».

Сия Петру рекшу [когда Петр сказал это], матери от презельных [обильной] радости ослабивши [ослабев], в мале [чуть] не умре. Егда же ю [ее] устрабихом [успокоили], седе [она села] и, в себе бывши, рече:

«Молю ся вама [прошу вас], чяде мои возлюбленнии, рцета [скажите] нам, яже [что] в лютеи онои [той] ноци случися вама».

Удивительные приключения Фавстина и Фавстиниана

Как говорилось раньше, корабль, на котором плыли Маттидия с близнецами, потерпел крушение, и мать потеряла своих сыновей. Мальчикам, с одной стороны, повезло, потому что они не погибли, а были спасены. С другой же стороны, их ожидала печальная участь, потому что они попали в лапы к морским разбойникам.

Никитис же начят глаголати: «Егда убо кораблю раздрушающуся, мужие нецыи [некие], в глубине разбивати не боящеися [не боявшиеся высоких волн], взяшя [взяли] нас, в лодию вложисшя [посадили в лодку], в Кесарию Стратоньскую ведоша [отвели]».

«И тамо, плачущемася нама [когда мы плакали], тающе гладом [изнемогая от голода], они же страхом претяще [угрозами запрещали] нама, овогда [иногда] же и раны налагающе, да нечто суровеише возглаголем на ня [чтобы мы ничего дурного не говорили о них]. По сих же, имена наша изменивше, продати возмогошя [смогли нас продать (в рабство)]».

«Жена некаа (...), именем Иуста, испуивши нас, в чяд место храняше [воспитывала вместо своих детей]. И всякому учению еллинску изучи [отдала нас в учение]. И егда в год смысла бывше [когда достигли разумного возраста], веру возлюбихове, и о учении любезне потрудиховесе, да к прочим языком спирающесе, обличити а [их] о лъсти [о неправде] возможем. Но и философскаа испытыхове [философией занимались], паче же рещи [лучше сказать] безбожнаа».

Из рассказа Никиты-Фавстина вырисовывается истинная историческая картина. В I—III вв. н. э. морские разбойники были бичом для судоходства на Средиземном море. Распространена была и работорговля: захваченного в плен обычно не казнили, а продавали в рабство. Разбойники выяснили, что Фавстин и Фавстиниан — царского рода, что обязывало их передать детей римским властям, но корысть пересилила: они приказали мальчикам не упоминать свои настоящие имена и продали их под чужими именами.

Счастье еще, что купила их благочестивая женщина (о чем свидетельствует и ее говорящее имя — *Иуста* [от лат. *iustus* «спра-

ведливый, праведный»)]. Она полюбила близнецов, как своих детей, и дала им хорошее языческое образование. Фавстин и Фавстиниан изучали, в частности, высокую эллинскую философию, но когда они стали христианами, то им пришлось от языческого знания отказаться, — вот почему Никитис называет философию безбожной.

Далее он рассказал, что один из учеников апостола Петра по имени Закхей привел их к принятию христианства.

Апостол Петр выступает против крещения Маттидии

Конечно, вся троица вновь отыскавшихся сыновей сердечно просит Маттидию стать христианкой. Примечательно, однако, — за этим, не исключено, стоят реальные жизненные обстоятельства, — что едва ли не на первое место в аргументации выходит желание всей семьи не разделяться за трапезой. Никитис-Фавстин так и сказал в заключение своего повествования:

«Сего же ради, любезна мати, и тебе молим, да ихже благ мы сподобихомся, сих и ты примемши [чтобы и ты приняла от тех благ, которых мы удостоились], да вкупе [вместе] брашен [кушаний] благословенна трапезы вкусити возможем».

Си Фавстину рекшу, абие мати припаде к Петрови, молящися и просящи <...>. «И ни един», рече, «день разлучна будет, отнеле же восприимах чяда [как только нашла детей], не ясти с ними».

И тут возникло неожиданное препятствие ... со стороны апостола Петра!

Си убо и нам с матерю помолвившемся [когда и мы с матерью стали просить о том же], Петр же рече: «Что мните, аз ли един есмь, не имея усердиа [здесь: сочувствия]? Яко не хошу вам, да ясте с матерю [чтобы вы ели вместе с матерью], крестив ю [ее] днесь [ныне]? Но поне [хотя бы] един день пред крещением поститися ей подобает». <...>

Оказывается, что непосредственно крестить допустимо только лежащих при смерти или ведомых на казнь:

«Есть же когда боляща виде, или ведома на смерть, или инаа каа злаа творящи плачются [со слезами умоляют], таковии без разсуждения [здесь: без промедления] милость приемлют. <...> Мати же вашия, поне [хотя] верно прилежить о крещении, един день пред ним да поститися».

Далее в «Слове» нарисована колоритная сценка: Маттидия и ее сыновья со всех сторон насаждают на Петра, требуя от него согласия на крещение, а тот ... отбивается!

Она [*то есть Маттидия*] же, крепляшеся: «По два», глаголя, «дни от многиа радости брашна [*пищи*] приати [*принять*] не возмож, но вчера токмо воды мало».

И Акила рече: «И что ей возбраняет креститися?»

Рече же Петр: «Ни есть же то крещения пост, не того бо ради бысть».

И Фавстиниан отвеща: «Яко же [*подобно тому как*] бо целомудрствовах [*жила в целомудрии*] в неведении, подобное истинне сотворивши [*соделав этим нечто подобное истине*], тако и ныне Бог равно той [*ей*] устрой пред едином днем поститися, в неведении, за истинное пощение [*вменив в подлинный пост*], да [*чтобы*] от первого дне, яко познати еи нас, с нами брашна приати возможен».

Петр же все никак не соглашался! Кроме катехизации, необходим был и пост, обычно многодневный, но в исключительных обстоятельствах возможен и однодневный. Случайное же воздержание от пищи — постом не считалось.

Казалось бы, возник досадный тупик! Но перед нами роман. Ситуация, конечно, скоро разрешится.

Как именно был найден выход из затруднения,— а также о многом другом,— вы прочитаете в следующем номере.



«Микола Чудотворец Богом силен...»

Р. А. КОМАРОВА,
кандидат филологических наук

Имя *Николай* греческого происхождения и означает «побеждающий народ», а своей всемирной славой обязано христианскому святому Николаю, архиепископу из города Миры в Ликии. Отсюда его обозначение «Мирликийский». Святитель Николай Мирликийский был сыном богатых родителей и еще с юности рукоположен в священники. Вся его жизнь, от рождения до смерти — исполнена высоких подвигов, удивительного благочестия и чудес: у многих народов почитается, с одной стороны, как всеобщий защитник, ходатай за весь мир; с другой — как дружеский и сострадательный помощник отдельному человеку. Он стал патроном людей разных занятий: моряков, банкиров, торговых людей, школяров, адвокатов. С его именем рыцари вели воинов в бой.

О чудесах, творимых св. Николаем, существует много легенд. Самой популярной стала история об отце трех дочерей, который, впад в нищету, готов был уже сделать из них блудниц, но св. Николай тайно подкладывает им три узелка золота в качестве приданого, чтобы каждую из них можно было выдать замуж. В связи с этим на Западе возник обычай прятать рождественские подарки под елку. Так родилась в европейской традиции фигура Санта Клауса («Клаус» *Klaus* — сокращенная форма от «Николаус» *Nikolaus*). А в России эта же легенда породила обычай начинать с *Зимнего Николы* (6/19 декабря) подготовку к свадьбам. Св. Николаю полагалось возносить молитвы о выдаче дочерей замуж.

Но, пожалуй, ничто не может сравниться с верой в покровительство св. Николая мореплавателям и торговым людям. Неудивительно, что в приморских городах стоят многочисленные храмы, построенные в его честь.

На Руси св. Николай был популярен среди поморов-рыбаков, а особенно страстно почитал его гордый, непреклонный Новгород. Вместе с тем, в России очень ярко проявлялась, как нигде больше, связь св. Николая с жизнью крестьянства. Свидетельством служат так называемые «микульские песни»: «Микула свет, с милостью приходи к нам, с радостью, с великой благостью, держись за сошку, кривую ножку». Русские крестьяне видели в нем доброго, участливого святого, «скорого помощника», «угодника», «чудотворца».

Эти представления перенесены и на изображение св. Николая на православных иконах. Его облик невозможно перепутать ни с каким другим святым: заботливый взгляд резко очерченных глаз, в которых чередуются то мягкая, то строгая проницательность, высокий лоб и мудрость старца. Крестьяне чествовали св. Николая дважды: «*Николу Зимнего и Летнего (9/22 мая)*. Считалось, что настоящая зима устанавливается только после зимнего Николя: *Хвали зиму после Николина дня; До Николя нет добра николи (нет дороги)*.

Летний Никола, в мае, отмечается в честь перенесения его мощей из Мир в итальянский портовый город Бари.

В России праздник летнего Николя связывался с началом весенне-летних сельскохозяйственных работ. Он длился целую неделю и получил название *никольщины*: *На никольщину и друга зови, и недруга зови, все друзья будут; Никольщина пивом красна, да пирогами*, но сохранились высказывания и о последствиях такого празднования: *Что наковал, то и прониклил (прототал в никольщину); дониколился до сумы*. И такое бывало.

Для русского крестьянина св. Николай — помощник во всех делах. И даже дождя просили у Николая Чудотворца, а не у Илии: *Батюшка Никола, давай дождя большого* (Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982).

В XIII—XIV веках почитание св. Николая в России усиливается. Об этом свидетельствуют постройки храмов в его честь. В одной только Москве насчитывалось 26 храмов и 126 приделов (Православные храмы Москвы. Карта-схема. М., 1990), а в российской провинции не было ни одного города без Никольского храма. О месте св. Николая в русском духовном сознании красноречиво говорят строчки духовных стихов, которые в XVIII—XIX веках нашли широкое распространение в России: «Микола чудотворец Богом силен, он всем святым помощник» (Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991).

Высокий религиозный пиетет св. Николая в нашей культуре

обусловил медленное вступление этого имени в реальный именник русского народа. Нет его и среди имен удельных славянских князей. Но зато очень рано оно обрело популярность у иноков и священнослужителей. Так, например, когда князь Святослав Черниговский (XII в.) одним из первых русских князей принял монашеский постриг, то получил новое имя — *Никола*. Позднее он был канонизирован и почитаем как преподобный Николай Святоша, памятный день которого отмечается 27 октября по новому стилю.

Имя *Николай* носили многие русские христианские миссионеры. Они доходили до Китая, Японии, Алеутских островов, переводили на восточные языки церковные книги, обнаруживая необыкновенную духовную одаренность. Среди них почетное место занимает святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский, в полной мере познавший и горечь, и радость апостольских подвигов. Установлен памятный день в честь этого святого — 16 февраля.

Обычной формой этого имени в допетровской Руси была *Никола*. Она фигурирует в древних русских месяцесловах. Реформы Никона *Николу* заменили на *Николая*. Эту форму решительно отвергал протопоп Аввакум: «Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев? А Николе Чудотворцу имя немецкое написали: Николай. В немцах немчин был Николай [имеется в виду Николай Буслаев, католик, которому адресован ряд сочинений Максима Грека. — Р. К.], а при апостолах еретик был Николай, а во святых нигде нет Николая» (Житие протопопы Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М., 1960).

Издавна была известна еще одна форма этого имени — *Микола*. Она появляется в памятниках с XI века (Кондратьева Т. Н. *Метаморфозы собственного имени*. Казань, 1983). *Микола* или *Микула* являлись просторечными вариантами формы *Никола*. Не без основания считается, что здесь сказалось влияние западных соседей (ср. польск. *Mikołaj*, чешск. *Mikulas*, венг. *Miklós*).

К XIX веку имя Николай уже органически вошло в русскую жизнь и использовалось даже в детских песенках и прибаутках: *Николай Николай, сиди дома не гуляй; Николенька гусочек по бережку скачет, белу рыбку ловит, бабушку кормит, бабушка старенька, бабушка добренька, внучка голубит, гладит по головке, шьет ему обновки, частенько целует, да счастья колдует* (Шейн П. *Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях*. СПб., 1900).

У имени *Николай* появились и производные: *Николайка, Николаха, Николаша, Николя, Коля, Колюня, Колюся, Колюха, Колюша, Коляня, Коляха, Коляша, Кока, Ника, Никаха, Никаша, Никуся, Никуша, Николка, Никула (Никуля), Никоша* (Петровский Н. А. *Словарь русских личных имен*. М., 1984).

Немало носителей имени *Николай* имеют необыкновенную духовность, особую отмеченность, склонность к религиозным исканиям. Так, мысль о спасительной силе веры пронизывает творчество Николая Языкова, жизненное кредо которого «приносить дрожащим людям молитвы с горней высоты» как бы формулирует одно из жизненных предназначений Николаев.

Еще один дар ниспослан носителям этого имени — вкус к путешествиям и любви к морской стихии. Интересны признания Николая Гумилева: «Не стихи меня манят — географическая карта». Или: «Я томлюсь, мне многого не надо, только море с четырех сторон»; «И в этом мире полюбил одни веселые дороги, далекие загадочные страны». На этой стезе Николаи добивались выдающихся успехов: известный русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай; декабрист Николай Александрович Бестужев, окончивший морской кадетский корпус, совершивший три дальних плавания и оставивший интереснейшие записки о Голландии. Особенно плодотворной была его деятельность на посту директора первого в России Морского музея.

Покровитель рыцарства, св. Николай способствует развитию таланта и карьеры военного своих тезок, но в области политики и в структурах власти они почему-то не обретают успеха. Драматически складывались судьбы русских императоров, носивших имя *Николай*. Царствование Николая I не принесло ему доброй славы. Будучи способным военным деятелем, он в роли императора превратился в тирана. Николай II не хотел быть тираном, и это тоже оказалось роковым обстоятельством. А сын императора Александра II — Николай Александрович (1843—1859) так и не дожид до престолонаследия, скончавшись в шестнадцатилетнем возрасте.

Саратов



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ *

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Дады. Русское село в Мордовской республике. Более ранняя форма топонима *Дадина* (1671 г.) на реке Вечерлее. Название антропонимического характера, происходит от дохристианского имени его основателя, первопоселенца мордвина *Дада* (*Даденка*, *Дадка*). Впервые он упоминается в переписи 1671 года: «дв⟨ор⟩ Дадка да Кормишка Лукяновы, у Дадки сын Добрынка» (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

да́динцы
да́динский, -ая, -ое

Дальнее-Константиново (XIV в.—?). Село в Нижегородской области. Как считают исследователи топонимии Нижегородского края (Трубе Л. Л. Как возникли географические названия Горьковской обл. Горький, 1962), село возникло в середине XIV века и названо по имени основателя великого Нижегородского княжества Константина Васильевича. Первая часть названия указывает на то, что есть населенный пункт с названием *Константиново*, расположенный ближе к чему-либо, видимо, к какому-то центральному объекту. Ср. аналогичное в Московской области *Петрово-Дальнее* и др.

да́льнеконстантиновский, -ая, -ое

Дарово́е. Поселок в Московской области. Вариант — *Даравое*.

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4—6; 1995. №№ 1—2.

В основе названия, видимо, апеллятив *дор* «росчисть в лесу, поляна, расчищенная от деревьев и кустарников под пашню». В безударном положении появилось *a* под влиянием диалектного аканья и было поддержано литературной нормой. Обращает на себя внимание тот факт, что фамилия одного из межевщиков земель Дарового отражает эту фонетическую особенность: «первоклассный землемерь Лапатынь» (Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939). Аналогичные названия известны в Центральной России, а особенно в ее северных областях: Архангельской, Вологодской, Кировской и др. В их основу положено слово, обозначающее способ подготовки лесного участка земли под пашню при подсеčno-огневом способе землепользования, когда мелкие деревья и кустарник выкорчевывались, выдирались и тут же сжигались, что впоследствии дало топонимы типа: *Гарь, Гари, Дор, Дорок, Новочисть, Полома (Паломы), Сечь, Чисть* и т. п.

— Даровое — имение отца Ф. М. Достоевского, убитого своими крестьянами. Будущий писатель проводил здесь летние месяцы с 1832 по 1838 годы. В настоящее время в Даровом создан музей писателя. Аргументом в пользу предложенного толкования топонима является то, что дом Достоевских и деревня находились в небольшой липовой роще, примыкавшей к березовому лесу (Все Подмосковье. М., 1967). Менее вероятно видеть в основе топонима апеллятив дар «подарок».

даровские, *-ой, -ая, -ое*.

Дани́лов (1777). Город в Ярославской области. Топоним представляет собой фамилию как имя прилагательное от личного мужского имени *Данил (-ла, -ло)* из *Даниил*, первопоселенца или одного из владельцев селения. В XVI—XVII веках под этой фамилией известны дьяки, подьячие, межевщики и другие официальные лица в Русском государстве (Веселовский. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.).

дани́ловцы, дани́ловец, дани́ловка

дани́ловский, *-ая, -ое*

Даниловцы — любимые ловцы, т. е. хорошие, лучшие ловцы, рыбаки.

Данко́в (1959). Город в Липецкой области. Топоним в форме *Донков* встречается в источниках XVII века. Название дано по гидрониму *Донок*, притоку Дона в верхнем течении. Донок — это маленький Дон. В предударном положении возникло *a* под влиянием акающего произношения, более сильного и раннего в южновеликорусских говорах, нежели в литературном русском языке. Нет оснований возводить топоним к личному мужскому имени *Данко* из *Даниил*, как это делает В. А. Никонов (Краткий топонимический словарь).

данко́вцы, данко́вец и данковча́не, данковча́нин

данко́вский, *-ая, -ое*

Дегтя́нка. Село в Тамбовской области. Название дано по основному занятию жителей — производству дегтя. В лесных краях к востоку от Москвы население издавна было занято производством дегтя, смолы, древесного угля, поташа и другими подобными промыслами. Аналогичные топонимы известны по всей Центральной России: село *Дегтяное*, поселок *Дегтярск* и т. п.

дегтя́нцы

дегтя́нский, -ая, -ое

Де́диново. Село в Московской области на Оке. В основе названия, видимо, слово *дедина* «земля дедов, наследство дедов» (ср. *отчина*). Это село с давних пор поставляло свежую рыбу к царскому столу.

де́диновцы, де́диновец и *устар.* дедно́вцы, дедно́вец

де́диновский, -ая, -ое

Дедновцы — *Макары*. Это прозвище связано якобы с приездом Петра I в Дединово, где первый встреченный им мужчина, на вопрос как его зовут — назвался Макаром. Петр ответил «хорошо». Вероятно, это имя ассоциировалось у него с голландским словом *maaker* «мастер». И тогда все мужики, желая угодить царю, на его вопрос «как зовут» отвечали «Макар». Такова легенда.

Де́довичи (1967). Рабочий поселок в Псковской области. Точно происхождение названия не известно, хотя и прозрачно по структуре: *дед-ов*, т. е. «принадлежащий деду»; суффикс *-ичи* патронимический и обычно оформляет топоним, связанный с именами предков, в данном случае — дедов. Это значит, что данное селение основали потомки деда или на земле деда (дедов), т. е. предков.

дедовича́не, дедовича́нин, дедовича́нка

де́довичский, -ая, -ое

Де́довск (1940). Город в Московской области. Рядом расположена одноименная прядильная фабрика. Вероятно, в основе топонима фамилия *Дедов* или слово *дед*, от которого она образована.

де́довцы, де́довец, де́довка

де́довский, -ая, -ое

Демидов (1776). Город в Смоленской области. Переименован в 1918 году в память о Я. Е. Демидове (1889—1918), председателе уездного комитета РКП(б), убитом контрреволюционерами. Прежнее название города — *Поречье*, в основе которого слово *поречье* «берег реки», т. е. это город, расположенный в поречье — у реки, на берегу реки. В данном случае у слияния рек Каспли и Гобзы (басс. Днепра). Слово *поречье* известно в русском языке с XV века (Сл. Ряз. XI—XVII вв.).

демидовцы, демидовец, демидовка

демидовский, -ая, -ое

Демя́нск (1960). Рабочий поселок в Новгородской области. Более ранние названия: *Демон*, *Деман*, *Демань*, *Демяна*, *Демянск*. Происхождение и значение топонима не известно, но факт наличия

нескольких его вариантов свидетельствует о том, что оно иноязычного происхождения и с трудом осваивалось русским языком. Исследователи гидронимии Верхнего Поднепровья видят в аналогичном гидрониме бассейна Десны *Демена* балтийский корень *dam/dem* (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). Не исключено, что этот корень лежит и в основе топонима *Демянск*.

демя́нцы, демя́нец, демя́нка и *устар.* демо́нцы, демáнцы,
демя́нцы
демя́нский, -ая, -ое

Деменцы — *горшечники*. Это значит, что основным занятием жителей Деменска было изготовление глиняной посуды, в частности горшков для приготовления и хранения пищи. Глиняная посуда была широко распространена у населения Центральной России до Великой Отечественной войны 1941—45 годов.

Десна́. Река, левый приток Днепра, а также несколько мелких речек в Верхнем Поднепровье, Среднем Поочье и на других славянских территориях как западных, так и южных. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на территории западных и восточных славян Десна — это преимущественно левый приток.

Происхождение гидронима не известно. Большинство исследователей (А. Шахматов, М. Фасмер, Т. Лер-Сплавинский, М. Розвадовский и др.) пытались объяснить его через славянское **деснь* «правый», но то обстоятельство, что это преимущественно левые притоки, а не правые, породило ряд предположений. Одни считали, что у славян была иная ориентация — не на север, а на юг; или то, что славяне двигались по Днепру с юга на север, против течения и поэтому справа оказывались у них левые притоки. Многочисленные гипотезы о происхождении этого названия приведены и сгруппированы в статье академика Н. И. Толстого «Десна — „dextra“?» (В кн.: История русского языка в древнейший период. Вопросы русского языкознания. М., Изд. МГУ. Вып. 5. С. 189—223). Сам же Н. И. Толстой приводит новый материал преимущественно по территории южных славян, где Десна является правым притоком. На этом основании он приходит к выводу, что гидроним Десна все же значит «правый», хотя и с определенной долей сомнения.

История изучения гидронима *Десна* изложена у Н. И. Толстого в зависимости от того, на каком материале он объясняется: финно-угорском, иранском, балтийском и др. Одним из перспективных предположений является соотнесение *Десна* и *Цна*. Варианты этих названий к востоку и юго-востоку от Москвы дают основание предполагать, что оба они восходят к одному источнику. На это указывает тот факт, что в Поочье река Десна (л. пр. Гуслицы в басс. Москвы-реки) имеет вариант *Сна* (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). На территории былого расселения мордовских языков и цока-

ющих русских диалектов *Сна* известно и как *Цна* в виде самостоятельного названия, или в составе названия: *Цна* (дважды), *Цон* (*Цона*, *Оцна*), *Десна* (дважды) и производные — *Мецна* (совр. *Мцена*) *Сосна*, а возможно и *Тесна*, *Дрисна*, *Кудосна*, *Лукосна* и др. (Смолицкая Г. П. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. М., 1988).

Гидронимия от *сна/цна* имеет определенный ареал распространения на территории современной Центральной России: на востоке и юго-востоке он совпадает с ареалом мордовской гидронимии; на западе и северо-западе Центра он фиксируется в пределах распространения прибалтийско-финской и балтийской гидронимии. Все сказанное дает основание предположить 1) — *сна* (>*Сна*), вероятно, какой-то географический термин финского или балтийского происхождения, возможно финское *sose*, *soseen* «болото, грязь», предположительно выдвинутый Т. Лер-Сплавинским (Lehr-Splawiński Т. О pochodzeniu i praoczyźnie słowian. Poznań, 1946). 2) — ареал южнославянского *Десна* от **desнь* «правый» и сама гидронимия носят другой характер и должны рассматриваться отдельно от гидронимии *Сна/Цна* на территории Центральной России. В. Н. Топоров считает, что сопоставление *Десна*, *Десенка* с балтийским материалом остается актуальным (Топоров В. Н. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I//Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988). См. *Мценск*, *Сосна*, *Цна*.

дэснинский, *-ая*, *-ое* и *деснянский*, *-ая*, *-ое*; *устар.* *дэсенский* (ср. *Десенская волость* в Подольском у. до 1917 г.)

Дзержинск (1930). Город в Нижегородской области. В прошлом — поселок *Растяпино*, вероятно, по фамилии владельца *Растяпа*, *Растяпин* или по прозвищу жителей: *растяпа* «несообразительный, рассеянный человек». Современное название по фамилии партийного деятеля Ф. Э. Дзержинского (1877—1926).

дзержинцы, *дзержинец*

дзержинский, *-ая*, *-ое*

Дмитриев-Льговский (1779). Город в Курской области. Более раннее название *Свапск* по реке *Свапе*, на которой было основано селение. Первая половина современного названия, вероятно по личному мужскому имени *Дмитрий* или фамилии *Дмитриев*, образованной от него. Вторая половина уточняет название, указывая на нахождение города поблизости от *Льгова*. Это вызвано тем, что в области имеется несколько топонимов от *Дмитрий* или *Дмитриев*. См. *Свана*, *Льгов*.

дмитриевцы, *дмитриеvec*

дмитриевский, *-ая*, *-ое*

Дмитров (1154)*. Город в Московской области. Основан князем Юрием Долгоруким. В основе названия — имя княжеского сына *Дмитрия*, известного впоследствии под именем Всеволода III,

великого князя Владимиро-Суздальской Руси. Легенда связывает название с тем, что Юрий Долгорукий приказал заложить город на том месте, где получил известие о рождении сына, названного им Дмитрием.

дмитровцы, дмитровец и дмитровчәне, дмитровчанин,
дмитровчанка
дмитровский, -ая, -ое

Дмитровцы — лягушечники, болотники. Это прозвище жителей отражает болотистый, сырой характер местности вокруг города.

Дмитровск-Орловский (1782). Город в Орловской области. В прошлом это село *Дмитриевка*. В связи с получением статуса города в 1782 году изменилось и название — **Дмитровск**. В основе его личное мужское имя *Дмитрий* (первопоселенец или один из владельцев) и суффикс *-ск*, характерный признак того, что название относится к городу (после XVII в.). В 1929 году он был переименован в **Дмитровск-Орловский**. Добавление было дано для различения его с другими одноименными городами, названия которых до настоящего времени не сохранились. Ср. село *Дмитровский Погост* в Московской области.

дмитровцы, дмитровец
дмитровский, -ая, ое

Дне́пр (укр. Дніпро, блр. Дняпро). Река берет начало в Смоленской области, впадает в Черное море. Более раннее название *Борисфен* (у Геродота), хотя некоторые исследователи считают, что оно относится к Березине, правому притоку Днепра (Никонов. Краткий топонимический словарь). Из многочисленных гипотез о происхождении этого гидронима заслуживает внимания предположение А. И. Соболевского, считавшего гидроним иранским (Русский филологический вестник. XIV. 1910). Он делит его на *dānu-apara*, где *dānu* «река», *apara* «отдаленный, дальний» или *apra* «глубокий», т. е. Днепр — далекая или глубокая река. Обе части названия известны как самостоятельные гидронимы — *Дон* и *Ибр* (в басс. Днепра), *Ибър* — на Балканах. По другой версии, название Днепр происходит от иранского (авестийского) *воурустана* «широкое место», и, видимо, было дано реке в нижнем течении, наиболее широкой части русла.

Подробная разработка этимологии предпринята академиком О. Н. Трубачевым (Трубачев О. Н. Название рек Правобережной Украины. М., 1968). Он считает гидроним по происхождению иранским. По его мнению, иранское *dānu* могло дать в славянских языках форму *danъ* через дакское или фракийское посредство (*dāni*), а из фракийской или дакской формы *dun-igr* дало *Дън-енрѣ* (*Дънепрѣ*) так же, как получилось *Дън-ѣстр* из *dun-istr*, которые были усвоены славянами. Это имеет под собой историческую основу, т. к. фракийцы и даки контактировали со скифами, а скифы со славянами. Видимо, название *Днепрѣ* (*Дънепрѣ*) первоначально

относилось к среднему течению реки, где находится приток Ибр, и уточняло гидронимы: Днепр — это *d̄ip̄ — *ибровский*, в отличие от *d̄ip̄ — *истровский*, т. е. *дунайский* (Дунай имел более раннее название *Истр*). В более поздней работе (Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1—18. М., 1974—1993. Вып. V) Трубачев сдержаннее высказывает свое более раннее предположение: «Однако, любая чисто ир(анская) этимология не в силах справиться с чисто фонетич. препятствиями, кот. устранимы лишь в том случае, если принять дако-фрак. посредство, вытекающее из наличия фонетич. изменений «румынского» типа ap/ʌp или, вернее, ʏp с потерей лабиальности: ip̄ > eap̄, что дает в итоге довольно точный слав. облик *d̄ьпѣргъ».

днепрóвский, -ая, -ое

Днепр — быстрый, широкий. Дон Иванович — тихий, золотой. Дунай Иванович, Прут, Днестр, Неман — порубежные. Так народная молва характеризует эти реки.

Днó (1925). Город в Псковской области. Это название можно соотнести с апеллятивом *дно* «нижняя поверхность, подстилающая площадь реки, озера, ледника, океана, болота» (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Видимо, селение было основано на месте (дне): низменности, образованной бывшим когда-то здесь ледником, оставившим после себя озеро, превратившееся в болото, а затем в высохшую низменность. Слово общеславянское, в топонимии не активно.

днóвцы, днóвец

днóвский, -ая, -ое

Добринка. Рабочий поселок в Липецкой области. Топоним может иметь двоякое объяснение. Возможно, это название дано под влиянием благодатной окружающей природы — окрестной красоты или благоприятных, хороших, добрых условий для жизни (хлебопашества, скотоводства). С другой стороны, подобные топонимы относятся к названиям-пожеланиям. Тот, кто основывал селение, а это, как правило, был помещик, хотел, чтобы жизнь в нем была самой лучшей, праздничной. Слово *добрый* в этом значении известно в южновеликорусских говорах (СРНГ. Вып. 8).

дóбринцы

дóбринский, -ая, -ое

Дóблгое (1974). Рабочий поселок в Орловской области. В основе названия слово *долгий* в диалектном значении «длинный», «вытянутый в длину». Это значит, что селение было вытянуто вдоль оврага (верха), ручья (колодезя) или озера. Не исключено, что эти объекты, вдоль которых были расположены селения, сами были длинными и имели названия *Долгий, Долгое*, которые перешли к селениям.

должáнцы, должáнец

долгóвский, -ая, -ое и должáнский, -ая, -ое

Долгопрудный (1957). Город в Московской области. Название дано по пруду, около которого возникло селение — *Долгий пруд*. В основе названия апеллятивы *пруд* — в литературном значении и *долгий* «длинный», широко распространенный в русских народных говорах. Известно много названий населенных пунктов *Долгое* (на Украине, в Орловской обл. и др.), и села *Долгодеревенское* (в Челябинской обл.), *Долгощелье* (в Архангельской обл.) и др.

долгопрудненцы, долгопруденец

долгопрудненский, -ая, -ое и долгопруднинский, -ая, -ое

Домодедово (1947). Город в Московской области. Топоним, вероятно, антропонимического характера — от фамилии *Домодедов*, хотя не исключено, что в основе его сочетание *дом деда*. В русской топонимии один из основных признаков номинации — по первопоселенцу, т. е. по первому двору, его владельцу. В данном случае — это был «дом деда», «принадлежащий деду».

Здесь находится аэропорт Домодедово.

домодедовцы, домодедовец, домодедовка

домодедовский, -ая, -ое

Дон. Река, берет начало в Тульской области, впадает в Азовское море. Древнегреческие авторы (Геродот, Страбон) называли ее *Танаис*. Существует несколько гипотез о происхождении этого гидронима, начиная с А. Х. Востокова и кончая современными исследователями. А. И. Соболевский возводил его к иранскому (авест.) **daṇu* «овечья река» (Соболевский А. И. Русско-скифские этюды. ИОРЯС. Пг. 1924. Т. 27), но эта гипотеза была отклонена М. Фасмером (Фасмер Т. I). Наиболее убедительная версия основывается на этимологии О. Н. Трубачева. Он возводит гидроним к иранскому **daṇu* «тень», которое на славянской почве дало **daṇь*. Последняя форма развилась в осетинском в *don* «вода, река» и стала названием реки (Трубачев. Указ. соч.). Слово *дон* в значении «вода», «река» известно и в современном осетинском языке. Не исключается и фракийское происхождение (Агеева Р. А. Происхождение имен рек и озер. М., 1985). Почти все исследователи считали родственными Дону гидронимы *Днепр*, *Днестр*, *Дунай*. Гидроним *Дон* довольно активно ведет себя в топонимии. Он «дает свое имя» многим населенным пунктам (городам, селам), расположенным на его берегах или поблизости от него. Например, в верхнем течении (сверху вниз): города *Задонск*, *Данков* (из *Донков* от *Донков <Дон>*), населенные пункты *Донские Избищи*, *Донское*, *Донская Носачевка* и др.

донцы, донёц и донча́не, донча́нин, донча́нка

донско́й, -ая, -ое

Донцы — *осетерники*, *балычники*, *станичники*. Имеется в виду то обстоятельство, что жители Дона (и Донской обл.) употребляют в пищу много рыбы, в частности осетра, и живут в станицах, т. е. большинство их — казаки.

Днепр — быстрый, широкий. Дон Иванович — тихий, золотой. Так говорят в народе. *На Дону ни ткнут, ни прядут, а хорошо ходят* (т. е. одеваются красиво).

Донской (1939). Город в Тульской области. Название дано по реке Дон (поблизости от которой основан) в форме прилагательного со значением «относящийся к Дону». Имена рек часто становились ойконимами в форме прилагательных (особенно в XIX—XX вв.). Известен город *Задонск* в Липецкой области, поселок городского типа *Донской* в Ростовской, неоднократно встречается село *Донское*, а также другие формы: *Северо-Задонск*, *Задонье* (в Тульской обл.) и др. См. *Дон*.

дончане, дончанин
донской, -ая, -ое

Дор (Дорский). Поселок в Московской области. В основе названия утраченное диалектное слово *дор* «росчисть, место, расчищенное от леса, кустарника под пашню». Такой способ подготовки лесного участка под пашню был известен на территории современной Центральной России, а особенно в ее северных лесных губерниях. Выкорчеванные, выдранные мелкие деревья и кустарник сжигались тут же на месте и поэтому такой способ ведения земледелия назывался подсечно-огневым. Память о нем сохраняется в топонимах, которых становится все меньше: *Дор*, *Доры*, *Дорки*, *Гари*, *Погори*, *Палы*, *Сеча* и др.

дорский, -ая, -ое и доровской, -ая, -ое

Дорогобуж (1150). Город в Смоленской области. С большой долей вероятности можно считать, что название является формой притяжательного прилагательного от мужского имени *Дорогобудъ*, из **Dorgobudъ*, известного во всем славянском мире и образованного суффиксом принадлежности -*ь*. Само личное имя состоит из *дор*(*ой*) и *будъ*, т. е. «буду дорогим» или «будь дорогим». Аналогичные топонимы известны на других славянских территориях: сербохорватский *Драгобудж*, чешский *Drahobuz* (ЭССЯ. Вып. 5). Для аналогичного гидронима *Дорогобужа* (басс. Припяти) исследователи не исключают балтийское происхождение в силу близости этого названия к старой ятвяжской территории (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья).

дорогобужане, дорогобужанин, дорогобужанка и дорогобужцы,
дорогобужец
дорогобужский, -ая, -ое

Досчатое (XVIII в.). Поселок при грузовой пристани на Оке в Нижегородской области. Название дано по строившимся и спускавшимся здесь на воду досчаникам (дощаникам) «небольшие грузовые плоскодонные суда с мачтой». В разных регионах России эти слова могут обозначать разновидность подобного судна. Слово *до-*

шаникъ в этом значении известно в памятниках русской письменности середины XVI века, а *дощатый* (*досчатый*) — в XVII веке.

дощатовцы и досчатинцы

дощатовский, -ая, -ое и досчатинский, -ая, -ое

Дрэзна (1940). Город в Московской области. Название дано по реке Дрезна, на которой было основано селение. См. р. Дрезна.

дрэзенцы, дрэзненец, дрэзенка

дрэзнинский, -ая, -ое и дрэзенский, -ая, -ое

Дрэзна. Река, правый приток Клязьмы. Название связывают с общеславянским апеллятивом *дрезга* «лес» (Никонов. Указ. соч.); в этом же значении известно белорусское *дрезик*. Такое объяснение может быть принято лишь при том условии, что река получила название в верховьях, у истока среди лесного массива. Протекает же она по безлесной местности. Не исключено, что в основе этого гидронима русское диалектное *дрезна* «крупный песок, дресва» или *дрезга* «песчаная жидкая грязь» (СРНГ). Этот признак номинации (характер почвы берегов, дна водоема) довольно распространен в русской гидронимии, в частности, на территории центральных областей России. Наиболее вероятной можно считать балтийскую версию о происхождении этого гидронима. *Дрезна* находит много соответствий в верхнеднепровской и прибалтийской гидронимии: *Дресна*, *Дросна*, *Дрежна*, латышское *Driskne*, древнепрусское *Dreszun* и др. (Топоров, Трубачев, указ. соч.; Топоров, «Baltica» Подмосковья).

Другусна. Река в бассейне Жиздры на территории Калужской области. Исследователи считают это название неясным. В. Н. Топоров приводит несколько версий его балтийского происхождения. По одной из них он сопоставляет гидроним с литовским *Drukšiniai*, с латышской основой от *drukšņāt* «грязнить», что позволяет семантически сопоставить с названием реки *Грязная*, *Грязна* и т. п., довольно частых в бассейне Оки (Топоров В. Н. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989).

Дубитель. Русско-мордовский поселок в Мордовской республике. Название отражает производственный профиль поселка, который возник в годы первой пятилетки при строительстве завода «Дубитель». На нем из дубовой коры изготовлялись дубильные вещества для обработки кожи. Слова *дубить*, *дубленый* известны в русском языке с XVI века (СлРяз. XI—XVII вв.).

дубительцы

дубительский, -ая, -ое

Дубна (1956). Город в Московской области, всемирно известный центр исследований в области ядерной физики. Название дано по реке Дубна, на которой город расположен при впадении ее в Волгу.

Вероятна связь гидронима с балтийским *dubē* «долина», «впадина, котловина».

дубнінцы, дубнінец

дубнинский и дубенский, -ая, -ое

Дубна́. Река, правый приток Волги, а также многие небольшие речки на территории центральной части России. Название связывают с апеллятивом *дуб*, т. е. река, берущая начало или протекающая по дубовому лесу; -на/-ня — основной суффикс при образовании гидронимов по характеру растительности на берегах. Ср. *Липна* и *Липня*, *Ельня*, *Ситна* и *Ситня* и т. п. Не исключена и связь гидронима с балтийским *dubus* «углубленный» (Никонов. Указ. соч.). Хотя в этом случае вызывает недоумение потеря балтийского -us, т. к. в аналогичных случаях русский формант, как правило, присоединяется механически к балтийскому апеллятиву или топониму, ср. *Другсна*, *Лопасня* и т. п.

Ду́гна (1925). Рабочий поселок в Калужской области. Название дано по реке Дугна, на которой было основано селение. Гидроним можно соотнести с балтийским географическим термином *dugnās* «дно», «отдаленные окрестности» (Невская. Балтийская географическая терминология). Видимо, по отношению к чему-то река (правый приток Оки) находилась в отдалении.

дугнінцы и дугнинцы

дугнинский и дугнинский, -ая, -ое и дугненский, -ая, -ое

Дудерго́ф. Населенный пункт в Ленинградской области. Другая форма названия *Дудорово*, *Дудоровский погост*. Вероятно, название носит финно-немецкий характер. Развивая предположение Д. В. Бубриха о саамской природе этого названия, А. И. Попов довольно убедительно его аргументировал. При членении Дудер-гоф основа *Дудер-* легко соотносится с диалектным саамским *duodar* «возвышенность» и с кольско-саамским *tundr* (в русск. *тундра*). Финноязычное название *Дудергофа* (*Дудорова*) — *Tuutari*. Одним из важных наблюдений, сделанных А. И. Поповым, является то, что в названиях деревень в писцовой книге добавление *Дудорово*, на *Дудорове* (д. Высокое на Дудорове) стоит в одном ряду с такими, как *гора*, *горка*, которые противопоставляются названиям с добавлением на *Подоле* (Попов. Следы времен минувших). Вторая половина топонима -гоф — немецкое «двор», очень активное в русской топонимии XVIII века, тогда-то оно и было присоединено к основе *Дудер-*.

Думі́ничи (1927). Рабочий поселок в Калужской области. Топоним, вероятно, антропонимического происхождения — по фамилии (прозвищу) *Думин*, известному в русском языке с XV века; *Думин* Митрофан, крестьянин, 1495 г., Новгород (Веселовский. Ономастикон). Патронимический суффикс -и́чи указывает на то, что здесь жили (живут) потомки *Думина*. Топонимы на -и́чи довольно широко известны в западном и отчасти в северо-западном регионе

Центральной России. Ср. *Сухиничи* в Калужской области, *Дедовичи* в Псковской и др. Менее вероятна связь топонима с балтийским *dūms* «темный», древнепрусским озером *Dūten*, литовской рекой *Dūta* и др. хотя бы потому, что приведенный материал — это гидронимы, а в окрестностях Думиничей, как и во всем бассейне Оки, гидронимы с основой *дум-* не зафиксированы. По отношению же к днепровскому гидрониму *Думанка* это предположение вполне реально. (Топоров. Трубачев. Указ. соч.).

думинича́не, думинича́нин

думи́ничский, -ая, -ое и думи́нический, -ая, -ое

Дуна́йчик (Дуна́ец). Река, правый приток Трубежа под Рязанью, в настоящее время вошла в состав города и засыпана. В бассейне Прони: река Дунайка, овраг Дунай (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). Аналогичные гидронимы известны на всей территории расселения славян. Некоторые исследователи считают, что это не что иное, как перенесение на эти территории названия общеизвестной европейской реки Дунай (Топоров, Трубачев. Указ. соч.). Название этой реки рассматривается как праславянское заимствование из иранских языков через кельтское посредство слова *dan* «река, вода» (Фасмер. Т. I; ЭССЯ. Вып. 5). По другой версии, первичной считается индоевропейская основа **dheu-/ *dhou-* «бежать, течь» (Jurkowski M. *Ukraińska terminologia hydrograficzna*. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1971). В основе рязанских названий можно видеть апеллятив *дунай* «большая вода, река», «разлив реки», «поток, ручей», известный в западнославянских и восточнославянских языках (ЭССЯ. Вып. 5). Ср. русское диалектное *дунай, дунаем* — о быстрорастущей буйной растительности (СРНГ. Вып. 8), которое семантически связано со значением «большая вода, река». Не исключено, хотя и сомнительно их южнорусское происхождение (Чумакова. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным).

Духовщи́на (1777). Город в Смоленской области. В прошлом это дворцовое село. Название, вероятно, дано по церкви *Святого Духа*. Суффикс *-щина* свидетельствует о том, что когда-то оно относилось не только к селу, но и ко всей местности, преимущественно к земельным угодьям, принадлежавшим нескольким селениям, объединенным с ним какими-то общими условиями (территориальными, административными, экономическими и др.). Производное: *Духовщинская возвышенность*.

духовщи́нцы, духовщи́нец

духовщи́нский, -ая, -ое

Дюрки́ (Дюрькина). Эрзянское село в Мордовской республике. Есть основания считать, что оно возникло до 1648 года. Название антропонимического происхождения. В его основе имя первопоселенца *Дюри* Базаева. Как сообщает И. К. Инжеватов, аналогичное

название носит близлежащее к селу поле — *Дюрянь пакся*, т. е. *Дюряево поле* (Инжеватов. Указ. соч.).

Дяги́лево. Поселок под Рязанью, в настоящее время вошел в состав города. В основе топонима, вероятно, апеллатив *дягиль* (*дягель*), которым в русских народных говорах обозначались разные растения, в частности борщевик, растение семейства зонтичных *Heraclеum L.* или один из видов валерианы — *Valeriana nitida Kг.*, купырь и некоторые др. виды растений (СРНГ. Вып. 8). Не исключено, что топоним антропонимического происхождения — от фамилии (прозвища) *Дягиль*, *Дягилев*, которая известна в источниках с XVI века: Дягиль, крестьянин 1539 г., Новгород (Веселовский. Ономастикон). В бассейне Оки известны аналогичные названия: деревня *Дягилевка*, проток *Дягилевской* и др. В основе фамилии *Дягилев* В. А. Никонов видит диалектное прилагательное *дяглый* «сильный, здоровый, крепкий», «работящий» (Никонов В. А. Словарь русских фамилий. М., 1993).

дягилевцы

дягилевский, -ая, -ое

Дятловка. Река в Среднем Поочье, а также деревня *Дятловка* (*Дятлово*), ручей *Дятловской*, болото *Дятлово* и др. Не исключено, что в основе некоторых из этих названий слово *дятел* «птица». Все же реальнее считать их однокоренными с *дятельник*, *дятлина* — разные виды клевера, а также иван-чая, широко известные преимущественно в диалектах Центральной России (СРНГ. Вып. 8). В источниках XV века известен Дятелина Семен Иванович Осокин сын Травин (Веселовский. Указ. соч.).

дятловский, -ая, -ое.

Дя́тьково (1938). Город в Брянской области. В основе названия, видимо, фамилия первопоселенца или одного из владельцев селения. Фамилия же в свою очередь образована от апеллатива *дядька* «воспитатель, попечитель» и известна в русском языке с XV века. Не исключено, что в основе топонима апеллатив *дядька*, а не фамилия, образованная от него.

дядьковцы, дядьковец

дядьковский, -ая, -ое.

Продолжение следует



Из топонимии юга Красноярского края

В. М. МАЛЬЦЕВА

В топонимии Сибири отразились судьбы множества племен и народов, уже исчезнувших или ассимилировавшихся с другими народами. В местностях, входящих ныне в южные районы Красноярского края, обитали угорские, кетские, самодийские и тюркские племена: кайбалы (койбалы), сагаи, бельтиры, тубинцы, тофалары, камасинцы, моторы и др. И, возможно, названия, оставленные ими, вызвали у красноярского писателя — нашего современника Анатолия Зябрева такие мысли: «Справа... обозначились Новополтавка, Большая Ничка, Алексеевка, Малые Кныши, Большие Кныши, Большой Хабык [у автора ошибочно Хадык. — В. М.], Большой Телек, Отрок, Добромисловка...

Подпрыгивая вместе с кузовом на подстеленной соломе, я успеваю подумать над тем, кто такой Матвей, и почему поселок поименован Матвеевым, и что тут люди делают. А Усть-Кандырла? Матовая полоска за таловой зеленой грядой, должно быть, и есть Кандырла, и где-то дальше упирается она в другую такую же матовую полоску. Уты? Что за Уты? Утками ли богаты поблескивающие стеклянными осколками озера и эта ленивая речка с названием тоже Уты или еще откуда название идет? А Кайбалы? Это старинное широкое село. Оно стоит тихое, словно разомлевшее под знойным солнцем, и курятся черепичные крыши голубоватым маревом.

А Краснополье? Откуда это мягкое, будто бы совсем несвойст-

венное местным жителям, певучее, поэтическое слово? А Соломенный Стан? Кому и когда пришло в голову такое?...

И что это за Кныши такие? Малые есть и Большие — все они, Кныши. А Добромысловка? С каким это добрым смыслом ставилась деревенька добрым человеком и все ли теперь там следуют тому началу — добромыслию?

А Большой Хабык? Ну, это, наверное, явно оттуда, из доисторического, только неверно, сперва был Малый Хабык, потом звался просто Хабык, а тогда уж и в Большой перерос. А Отрок? Что-то крайне грустное в этом имени и безысходное, вроде дорожního тупика. Что?» (Зябрев. Борус яснолобый).

Попробуем ответить на некоторые вопросы.

Имена, давшие названия топонимам, чаще всего принадлежали первым поселенцам, основателям сел. Однако и здесь очень много легенд и неясностей, так как зачастую сохранились лишь устные свидетельства, и не осталось никаких документов, по которым можно было бы легко установить истину. Есть в Идринском районе села *Никольск*, *Екатериновка*, *Васильевка*, *Еленинск*. И существует легенда, что села эти были названы по именам детей одного богатого человека, некогда там проживавшего. Однако на самом деле это не совсем так.

Село *Никольск* основано в 1841 году, расположено на реке Хабык. За восемнадцать лет оно сменило несколько названий. Первоначально село называлось *Киргизюль* — по небольшой речке, которая протекает через село и впадает в Хабык, обозначает буквально «река киргизов». От старых жителей это название можно услышать и теперь. До 1854 года село называлось *Муравьевским*, в честь генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева; затем было переименовано по его имени и стало называться *Николаевским*, а потом *Никольским* (Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск, 1916). В «Списке населенных мест (Енисейской губернии) по сведениям 1859 г.», изданном в 1864 году, это село значитс как деревня *Никольская (Киргизюль)*. Никаких сведений о том, что село называлось *Муравьевским* или *Николаевским*, там не содержится. Нет и никаких документов, подтверждающих такую смену названий. Возможно, граф Муравьев здесь ни при чем, село было названо по имени одного из первых поселенцев.

Екатериновка, село в Идринском районе, основано в 1846 году переселенцами из Пермской губернии, расположено на небольшой речке Каратуз, по которой и получило первоначальное название. До сих пор неофициально продолжает называться *Каратюзом*, или *Пермяцким Каратюзом*. Название *Екатериновка* жители объясняют так: «Земли, на которых поселились, дарованы были государыней Екатериной, по ее имени и назвали деревню — *Екатерининской*». Но правление Екатерины II закончилось в 1796 году, а село возникло

спустя полвека. Поэтому рассказ о том, что земли дарованы Екатериной, скорее всего лишь легенда, хотя полностью отвергать версию о том, что село названо в честь царицы, нельзя.

Еще большую загадку представляют топонимы *Кныши* и *Отрок*.

Кныши. Это слово входит в название двух сел — *Большие* и *Малые Кныши* и реки Кныш. Села основаны старожилами, к которым затем присоединились переселенцы из Пермской, Тамбовской и Орловской губерний. Возможно, название дано старожилами. Слово *кныш/книш* известно в русских народных говорах, в том числе и красносарских, прежде всего в значении «пшеничный хлеб» (Словарь русских народных говоров. Л., 1977. Вып. 13). Среди прочих это значение отмечено в Словаре В. И. Даля. М. Фасмер в Этимологическом словаре русского языка привел высказывание Брюкнера, который это восточнославянское слово связывал по происхождению с чешским и польским *kňpъ* (*кнея*) «роща, лес, окруженный полями, густой кустарник», «лесная чаща, дебри, пуща» (М., 1967. Т. II). Может быть, по лесным кустарникам или лесной чаще и было названо место. Сейчас апеллятив исчез из активного употребления, а топоним воспринимается как нерусский.

Река *Отрок*, начинаясь на склонах Манского Белогорья, впадает в Сыду, один из правых притоков реки Енисей. У места впадения реки находится село *Отрок*, основанное в 1856 году переселенцами из Вятской, Пермской и Тобольской губерний. Село, очевидно, было названо по реке.

Казалось бы, никаких загадок, неясностей, ведь *отрок* можно найти во всех словарях русского языка. Так, в Словаре русского языка XI—XVII вв. среди прочих есть следующие значения этого слова: 1. Мальчик-подросток. 2. Ребенок вообще. 3. Юноша, юноша-холостяк (М., 1988. Вып. 14). Почти те же значения находим в Материалах для словаря древнерусского языка И. И. Срезневского и в Словаре В. И. Даля. В русских народных говорах многозначность этого слова представлена несколько иначе. Кроме уже указанных, там есть и другие значения: 1. Отросток, побег растения. 2. Комель, отпиленный от бревна (Словарь русских народных говоров. Л., 1989. Вып. 24). И, наконец, в Словаре современного русского литературного языка слово дается с пометой «устар.» — «мальчик-подросток» (М.—Л., 1959. Т. 8). Как видим, в большинстве значений слова *отрок* лексикографами выделяется указание на возраст. С возрастом связывает объяснение названия один из краеведов: «Прыток Отрок: семидесятикилометровый путь от начала до встречи с Сыдой даже в межень преодолевает менее чем за сутки. И потому молод, за что, видимо, и наречен редким названием» (газета «По ленинскому пути». 1976. 25 мая). По происхождению слово является русским из праславянского *от(ъ)гокъ «не имеющий права говорить» (Фасмер.

Указ. соч.; Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка).

На первый взгляд, версию о русском происхождении названия можно было бы считать бесспорной. Но интенсивное русское заселение и сельскохозяйственное освоение Минусинской котловины началось после постройки Абаканского (1707) и Саянского (1709) острогов, а это значит — русские в тех местах, где река Отрок впадает в Сыду, были не первыми. Поэтому следует обратиться к другим источникам.

Поскольку перед заселением юга Сибири русскими на большей территории там проживали тюркоязычные племена, стоит поискать параллели в тюркских языках. В «Древнетюркском словаре» имеется слово *otrug* «остров», которое представлено в ряде тюркских языков: татарском, алтайском, хакасском (Л., 1969), а современные исследователи связывают его с тюркским *orta/otra* «середина», образованным с помощью аффикса *-g-*, непродуктивного для современных тюркских языков (Дмитриева Л. В. Алтайские этимологии. Л., 1984. С. 130—174). Таким образом, в тюркских языках это слово могло означать «остров, расположенный посередине». Село *Отрок* находится как раз посередине — между двух рек. Возможно, тюркские народы, прежде там обитавшие, дали первоначально название местности между двумя реками, а затем перенесли это имя на одну из них. Отсутствие коренного населения не дает возможности точно узнать, в какой последовательности давались именованья. Но русские, по всей вероятности, назвали село по реке. Тюркский апелляция в настоящее время не употребляется, не знаком русскому населению, поэтому топоним *Отрок* воспринимается как чисто русский.

Нельзя утверждать, что тюркская этимология топонима *Отрок* является окончательной, но она достаточно убедительна и отражает расположение географического объекта на местности.

Абакан



Князь
Глеб
Володьевич



*С. Н. АЗБЕЛЕВ,
доктор филологических наук*

Для устного эпоса характерны наслоения впечатлений от сходных, но разновременных исторических деяний: произведение, созданное под воздействием громкого факта, дополнялось и видоизменялось, впитывая устные известия о похожих событиях. Но вследствие этого сходства не происходило полной переработки: оставалась не только сюжетная основа, но и индивидуальные реалии, по-разному сохранённые вариантами произведения, которое записали от разных лиц собиратели фольклора. При длительном устном бытовании объединялись в одном эпическом образе и исторические деятели — подобно тому как само повествование народного эпоса оказывалось результатом обобщения событий реальной истории. Интересный пример того и другого даёт известная всего в нескольких записях, но насчитывающая уже девять столетий своего существования былина, которая была озаглавлена одним из

народных исполнителей «Поход на Корсунь», а другими — «Князь Глеб Володьевич»:

Там ведь был-то жил да во Новеграде,
Там-то жил-то ведь как князь да Глеб Володьевич.
Он задумал-то Глеб да сын Володьвиць,
Он задумал всё дельшко немалоё,
Он немало ведь дельшко, великое...

Так начинала эту былину знаменитая сказительница Аграфена Крюкова (Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901. С. 251). Есть записи и от четырёх других сказителей. В былине идёт речь об успешном походе Глеба Володьевича на город Корсунь; причина его военных действий — ограбление там русских судов и жестокое обращение с русскими моряками.

Известный собиратель и исследователь народного эпоса А. В. Марков, осуществивший в конце XIX века две первые записи былины на Зимнем берегу Белого моря, был и автором первого основательного её исследования. Правда, прежде, чем эту былинку изучил Марков, появилась работа его учителя, академика В. Ф. Миллера, который на материале записей Маркова высказал предположение, что былина отобразила осаду Херсонеса в Крыму (этот город русские называли Корсунью) князем Владимиром Святославичем — в связи с последующим принятием христианства и женитьбой его на византийской царевне (Миллер В. Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче // Журнал Министерства народного просвещения. 1903. № 6. С. 304—321). Однако после исследования Маркова Миллер снял своё предположение, признав более обоснованной гипотезу ученика (Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. Былины. М., 1910. Т. 2. С. 294—295): историческая основа былины — поход на Херсонес новгородского князя Глеба Святославича в 1077 году, осуществленный совместно с другим русским князем. Соединение в былине двух княжеских имён и отчуждение явилось причиной образования былинного имени «Глеб Володьевич» (см.: Марков А. В. Из истории русского былевого эпоса. III. К былине о Глебе Володьевиче // Этнографическое обозрение. 1904. № 3. С. 1—37). Марков указывал на историческую правдивость сведений былины о разновидностях торговых пошлин и связал её появление с борьбой русских князей XI века за обеспечение интересов русских купцов, прежде освобождённых от уплаты пошлин в пределах Византийской империи (которой принадлежал тогда Херсонес).

Сравнительно недавно к этой былине обратился академик Б. А. Рыбаков, выводы которого относительно исторического ядра былины в основном совпали с мнением Маркова. Опираясь на появившееся в 1950 году исследование А. Л. Якобсона о средневековом Херсонесе, Рыбаков сопоставил его сведения о высоких налогах

и пошлинах в Херсонесе того времени с красочным описанием в былине «небывалых и непомерных таможенных сборов» и констатировал, что историческая обстановка «обрисована нашей былиной очень верно» (Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 99—101).

Мнения исследователей разошлись в том, кто был вторым князем, возглавлявшим вместе с Глебом Святославичем поход на Корсунь. Недоставало определённости и в его датировке, поскольку академик В. Г. Васильевский, изучавший русско-византийские отношения того времени вне связи с былиной, полагал, что поход был в 1073 или 1074 году (Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1909. Т. 2. Вып. 1. С. 28—34). Спутником Глеба Святославича признавался либо князь Владимир Всеволодович Мономах, либо князь Владимир Ростиславич, которого летопись называет Володарем. Разобраться в этих вопросах оказалось непросто из-за ограниченности источников: сохранившиеся летописи не содержат прямых сведений о самом походе.

Из летописей, однако, известно, что великим князем Киевским до декабря 1076 года являлся сын Ярослава Мудрого Святослав, а затем, после его смерти, брат его Всеволод. Сыновьями этих великих князей были тогда ещё молодые двоюродные братья Владимир Всеволодович (позже прозванный Мономахом), княживший в Смоленске, и Глеб Святославич, княживший в Новгороде. Владимир (Володарь) Ростиславич, князь Перемышльский, был правнуком Ярослава Мудрого.

Сведения же о походе на Корсунь содержатся в «Истории Российской» В. Н. Татищева, который пользовался недошедшими до нас летописями; упоминание об этом событии нашлось и у знатока старинных рукописей Э. Муральта, описавшего с их использованием историю Византии.

Поскольку тексты письменных источников невелики, приведём их полностью. У Татищева, в самом конце известий, помещённых под 1076 годом, находим: «Михаил царь греческий, иже отца своего Романа царства лиша, сам приал, но вскоре от болгар побеждён, и корсуняне ему отреклися, прислал ко Святославу послов со многими дарами и обещаниями, прося его и Всеволода о помосчи на болгар и корсунян. Святослав же, согласяся со Всеволодом, хотел на болгары сам ийти со сынами, а Владимира сыновца и с ним сына Глеба послал на корсунян. Но вскоре, сам разболевся, послов отпустил с тем, что сам немедленно пойдёт или сынов своих пошлёт. По смерти же Святослава пришла от грек ведомость, что Михаил умер, а царство приал Микифор. Всеволод же войско всё распустил в дома и сына Владимира из Корсуни возвратил» (Татищев В. Н. История Российская. М.-Л., 1963. Т. 2. С. 91—92).

Краткое сообщение Э. Муральта основано на неизданной рукописи

аббата Одерико, излагавшего историю генуэзских колоний. Под 1074 годом Муральт пишет, что обитатели Херсонеса, «не смогли получить от императора определённые торговые привилегии, восстали против его власти. Он вызвал против них Всеволода, великого князя России, который туда отправил своих сыновей Владимира и Глеба» (Muralt E. *Essai de chronographie Byzantine 1057—1453*. St-Petersbourg, 1871. P. 28).

Требуют объяснения смысловые расхождения двух источников. Они, правда, незначительны. У Татищева адресат императора — великий князь Святослав, который принимает решение вместе со своим братом Всеволодом, затем умирает, после чего Всеволод, ставший великим князем, завершает начатое. У Муральта адресатом и принимающим решение назван великий князь Всеволод. Такое смещение вполне могло произойти при сокращении текста первоисточника, аналогичного источнику Татищева. У Татищева речь идет об «отречении» корсунян от власти императора, в источнике Муральта — о их восстании, причём указана причина его — неполучение торговых льгот, — отсутствовавшая, по-видимому, в источнике Татищева. В данном случае оба текста лишь дополняют друг друга, не расходясь по существу. Следует также заметить, что источник Муральта, по-видимому, вследствие непонимания иностранцем различия русских слов *сын* и *сыновец*, назвал обоих участников похода сыновьями великого князя Всеволода, хотя Глеб не был его сыном: *сыновец* — племянник.

У Татищева Владимир назван племянником великого князя Святослава. Таковым был Владимир Мономах. Володарь Ростиславич приходился Святославу двоюродным внуком. Если бы речь шла о нём, то слово *сыновец* было употреблено в необычном значении; похожий случай есть лишь в «Слове о полку Игореве», где *сыновцами* великого князя Киевского названы удельные князья, на самом деле не являвшиеся его племянниками: «Тогда великий Святъславъ изрони злато слово слезами смешено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!» Если же допустить, что Татищев пишет о Володаре Ростиславиче, тогда он нетрадиционно назван в приведённой цитате сыном Всеволода. Есть примеры, когда в письменных памятниках слово *сын* применялось к удельному князю, если речь велась о его отношении к князю Киевскому, не являющемуся отцом этого князя в обычном смысле. Но подобные случаи засвидетельствованы только при обращении к этим удельным князьям (см.: Срезневский И. И. *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным источникам*. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 871—873; ср. также: *Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»*. Л., 1978. Вып. 5. С. 258—259). Текст Татищева сюда отнести нельзя. К тому же было бы странно, если бы в обеих фразах использовалось нетрадиционное словоупотребление лишь при наименовании Владимира, тогда как при наиме-

новании Глеба в тех же фразах словоупотребление оставалось традиционным.

Если все-таки предположить, что в источнике Татищева речь шла о Владимире (Володаре) Ростиславиче, а не о Владимире Всеволодовиче, то пришлось бы считать, что Татищев сознательно внёс по меньшей мере два изменения в передаваемый им текст, дабы превратить одного князя в другого. Такую текстовую операцию нечем объяснить.

Среди действовавших в то время, известных нам по летописям, русских князей был только один Глеб и только два Владимира. Следовательно, у Татищева (и у Муральта) речь идёт именно о Глебе Святославиче Новгородском и именно о Владимире Всеволодовиче Мономахе. Дополнительно это подтверждают данные другого источника, помогающие уточнить и дату похода.

Последние фразы татищевского текста означают, что после смерти великого князя Святослава от греков пришло известие о смерти императора Михаила и о воцарении Никифора; великий князь Всеволод к тому времени распустил войско и вернул из Корсуни своего сына Владимира. Поскольку Святослав умер в декабре 1076 года, а Никифор воцарился в Константинополе весной 1078 года, завершение корсунского похода приходится именно на этот отрезок времени.

Когда именно русское войско отправилось в Корсунь, прямых сведений нет. Однако из текста ясно, что решение о походе Святослав и Всеволод приняли незадолго до смерти Святослава. Выражение «Владимира сыновца и с ним сына Глеба послал на корсунян» означает распоряжение о походе, а не фактическое выступление войска в поход, который требовал, конечно, тщательной подготовки. Поэтому сам поход состоялся, вероятно, уже при Всеволоде, после смерти Святослава (кстати, именно таков прямой смысл известия Муральта) — то есть в 1077 году.

Согласно былине, князь Глеб отправился в Корсунь из Новгорода. По летописи, Глеб был новгородским князем с 1069 по 1078 год. Передвижение его войска из Новгорода в Корсунь могло происходить только после вскрытия рек, весной 1077 года. Подготовка же к походу должна была вестись в Новгороде зимой.

Обратимся к знаменитому «Поучению» Владимира Мономаха, где даётся перечень главных походов. Он пишет: «И Святослав умре, и язъ паки Смолиньску, а и-Смолиньска той же зиме та к Новугороду; на весну Глебови в помочь» (Повесть временных лет. М.-Л., 1950. Ч. 1. С. 159). Поскольку Святослав умер 27 декабря 1076 года, речь идёт как раз о зиме мартовского 1076-го и о весне 1077 года (год начинался в тогдашнем календаре 1 марта). По поводу выражения «на весну Глебови в помочь» Н. М. Карамзин высказывал предположение, что Мономах помогал Глебу, «воевавшему тогда, может быть,

с соседственной чудью» (Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1991. Т. 2—3. С. 241, прим. 134). Однако это не более чем домысел, так как столкновение Глеба с чудью летописи относят только к весне следующего года. А историк Соловьёв считает, что Владимир помогал Глебу не против чуди, а против князя Всеслава Полоцкого (Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. М., 1962. Т. 1—2. Кн. 1. С. 359). Но и это только догадка, которая ничем не может быть подтверждена, кроме общего соображения, что Всеслав враждовал с Глебом. Известно, что Глеб с новгородцами нанёс поражение Всеславу у стен Новгорода на 9 лет раньше, последующий же поход Всеслава к Новгороду, согласно тому же перечню Мономаха, состоялся год спустя после того, как Мономах помогал Глебу.

Опираясь на конкретные указания источников, слова Мономаха о его прибытии в Новгород и помощи Глебу можно связать только с сообщениями Татищева и Муральта о совместном походе Владимира и Глеба против курсунян. Слова же Татищева о том, что Всеволод отозвал Владимира из Курсуни следует отнести к лету 1077 года, когда, согласно «Поучению», Мономах совершает поход «со отцем под Полтеск» (Повесть временных лет. Ч. 1. С. 159). А Глеб, очевидно, должен был вернуться в Новгород не позже ледостава, к зиме того же года, поскольку последующее летописное известие о нём застаёт Глеба на севере весной 1078 года.

Таким образом, нет оснований полагать, вслед за Васильевским, что поход происходил на несколько лет ранее, чем он помещён в известиях Татищева. Нет, как видим, и причин для предположения, что Татищев об участии в этом походе Владимира Мономаха сообщил ошибочно.

Былина «Глеб Володьевич» отозвалась на совместный поход князей Глеба Святославича Новгородского и Владимира Всеволодовича Мономаха на Херсонес в 1077 году.

Но оказалось, что у былины есть, по-видимому, и более ранняя историческая основа — та самая, какую предположил некогда академик В. Ф. Миллер. Это обнаружилось благодаря варианту, записанному уже после его смерти А. М. Астаховой на р. Мезени в 1928 году от превосходного сказителя М. Г. Антонова.

Как известно из летописи, после долгой осады Херсонеса Владимиром Святославичем судьбу города решил успешный подкоп, с помощью которого русский князь лишил осаждённых возможности использовать подземный источник питьевой воды; ранее подкопы применяли сами осаждённые, унося по подземному ходу землю из вала, который возводили осаждавшие (Повесть временных лет. Ч. 1. С. 76). Аналогичная ситуация в мезенском варианте былины. Здесь рассказ о встречных подкопах с целью лишить город снабжения через подземный ход составляет кульминационный эпизод,

органически связанный с остальным содержанием былины. Войска русского князя не имеют успеха:

Стоят они под городом год поры,
Стоят под городом другой поры,

пока не убедились, что

Есть там ходы подземельные,
Идут ведь запасы там хлебные.

Успех пришёл только когда «захватили ходы подземельные» (Былины Севера. Записи, вступ. статья и комм. А. М. Астаховой. М.—Л., 1938. Т. 1. С. 206—207). Уже сама собирательница в комментарии отметила близость к летописному рассказу о взятии Херсонеса Владимиром Святославичем и писала, что этот вариант в большей степени историчен, чем прежние записи.

Недавний анализ показал и большую степень соответствия истории в некоторых собственных именах. Точно сохранено древнерусское название города — «Корсунь» (в отличие от форм «Консырь», «Концырь» в других записях); хотя имя былинного князя здесь не «Глеб», а «Лев», зато отчество его — «Володович», а не «Володьевич», как в остальных вариантах. Еще А. В. Марков предполагал, что именно такова могла быть переходная форма от «Всеволодович» (отчество Владимира Мономаха) — эта гипотетическая форма оказалась реально существующей в устной традиции (см.: Новиков Ю. А. «Глеб Володьевич»: вымысел или отражение исторической реальности? // Фольклор. Проблемы историзма. М., 1988. С. 193—199).

Однако исторические обстоятельства двух событий, о которых шла речь, всё же не дают достаточного объяснения центральной идеи дошедшей до нас эпической песни. Согласно былине, русские моряки, занесённые бурей в Корсунь, были там задержаны, а их богатые товары под предлогом высоких таможенных сборов конфискованы. Это и служит причиной подхода, который оканчивается победой русских и отнятием захваченных богатств.

По-видимому, на воспоминания о походе князей Глеба и Владимира, осуществлённом по просьбе византийских властей в 1077 году, наложились воспоминания о другом походе, вызванном обстоятельствами иного рода.

У Татищева под 1095 годом есть сообщение ещё об одном походе против корсунян, который был предпринят тем же Владимиром Мономахом, но уже без участия Глеба Святославича. Приведём полностью это известие: «Корсуняне, напав, русские корабли разбили и многое богатство побрали, о чём Святополк и Владимир посылали к царю Алексию просить и к корсуняном, но не получили достойного награждения. Для которого Владимир с Давидом Игоревичем и

Ярославом Ярополчицем, имеющим войски Святополковы, к тому взяв торков и козаров, пошёл в Корсунь. И сошедшись с войски корсунскими, у града их Кафы победил. По котором корсуняне, заплатя все убытки Владимиру, мир испросили. И Владимир возвратился с честью и богатством великим» (Татищев В. Н. История Российская. Т. 2. С. 103).

Рассказ об этом походе Мономаха в Крым, сильно уснащённый домыслами — вплоть до исторических несообразностей — попал в сочинения некоторых иностранцев, писавших о России в XVI—XVII веках. Татищев использовал не их, а, очевидно, более ранний по происхождению летописный текст, основанный в конечном счёте на рассказе современника о событиях 1095 года. Ранняя версия устного повествования о них, вероятно, и послужила материалом для контаминации с устным произведением, уже дававшим эпическую трактовку предшествующих походов на Корсунь.

Общий недостаток работ, в которых предлагались исторические идентификации содержания былины о взятии Корсуни — стремление видеть в основе эпического сюжета один какой-нибудь факт (исключение из этого составили только беглые соображения в кн.: Плисецкий М. М. Историзм русских былин. М., 1962. С. 225—226). Между тем дошедшая до нашего времени эпическая песнь отображала не одно, а три исторических события, связанных с этим городом на протяжении почти столетия — от 90-х годов X века до 90-х годов XI. Почти тысячу лет произведение удерживается в устном репертуаре носителей русского героического эпоса. Это можно истолковать как показатель весьма устойчивого внимания в народной памяти к взаимосвязи Руси и Крыма — ещё со времён принятия христианства.

Санкт-Петербург



БОЛОНКА

*Н. С. АРАПОВА,
кандидат филологических наук*

Болонки, маленькие комнатные собачки с мягкой мохнатой шерстью, были в большой моде во второй половине XVIII и в начале XIX веков. Вот что можно прочесть об этом слове в Этимологическом словаре русского языка (автор-составитель Шанский Н. М. 1965. Т. 1. Вып. 2. С. 157): «Болонка. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XIX в. По ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре АР 1847 г. Франц. *bolonais* буквально значит „болонский, из Болоньи“. Со-

бака названа по итальянскому городу, из которого собаки этой породы первоначально вывозились».

Однако французское название таких собачек — не *bolonais*, а *bichon*. Французское *bolonais* «болонец, житель Болоньи» применяется к людям, а не к собакам.

В романе Ф. М. Достоевского «Подросток» есть сцена, где два молодых человека, Долговязый и маленький, когда-то принадлежавшие к хорошему обществу и прекрасно владеющие французским языком, приходят в номера к Ламберту и Альфонсине. Долговязый обращается к девушке: «— Mademoiselle Alphonsine, avez-vous vendu votre bologne? — спросил он. Qu'est que ça, ma bologne? — Младший объяснил, что „ma bologne“ означает болонку.— Tiens, quel est ce baragouin? — Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales...»

(— Мадмузель Альфонсина, Вы продали вашу bologne?

— А что это такое, ma bologne? — Что за страшный жаргон?

— Я говорю, как русская дама на минеральных водах).

Словарь русского языка XVIII века фиксирует слово *болоночка*, которое один раз отмечено в сочинениях И. М. Долгорукого; слово *болонка* не фиксируется ни разу. Зато довольно часто в XVIII веке встречается словосочетание *болонская собачка*. К примерам из художественной литературы, на которые ссылается Словарь, можно прибавить и некоторые материалы из сочинений по естествознанию второй половины и конца XVIII века. Так, в «Достопамятностях природы» (1779 г.) читаем: «Золотую рыбу между водными зверьми употребляют для забавы, как между земными животными болонскую собачку, сурков и обезьян». В «Руководстве к естественной истории» Блуменбаха (1797 г., I) мы находим и прототип русского словосочетания *болонская собачка*: «Болонская или постельная собачка, Bologneser Hundchen по-фр[анцузски] le bichon». Итак, русское *болонская собачка* — буквальный перевод немецкого *Bologneser Hundchen*. Любопытно отметить, что в «Новом лексиконе» С. Волчкова (1755 г., I) французское *bichon* сопровождается переводом-толкованием: «Хохлатая, долговолосая, долгошерстная Булонская собака». По-видимому, С. Волчков соотносил русское название этой породы собак не с Болоньей, а с Булонью.

Существительное *болонка*, по-видимому, известно еще с XVIII века, о чем свидетельствует зафиксированное Словарем русского языка XVIII века уменьшительное *болоночка*. Слово *болонка* возникло в результате стяжения словосочетания *болонская соба(ч)ка*. По нашим материалам, мы впервые обнаруживаем его в Англо-русском словаре Паренаго (1816 г., III). Это распространенный словообразовательный тип: *меделянка* из *меделянская* (т. е. миланская) *собака*, *кохинхинка* из *кохинхинская курица*, *симменталка* из *симментальская корова* и т. п.

«Серые» люди

Л. Е. КРУГЛИКОВА,
кандидат филологических наук

В русском языке имеется множество существительных, обозначающих серого, отсталого, малокультурного человека. Одно из ранних — *селянин* — было известно еще в XIII веке. В своем исходном значении «сельский житель, крестьянин» оно до сих пор бытует в языке. Точных данных о том, когда оно перестало употребляться в переносном значении, найти не удалось. Ему на смену пришли другие слова с аналогичной семантикой и внутренней формой: *мужик*, *деревня*, *деревенщина*, *пошехонец* и другие. Переносное значение у существительных *деревня* и *деревенщина* появилось в XVIII веке, в период значительного роста числа таких наименований. Исходное значение слов *деревня*, *деревенщина* в какой-то степени влияет на их использование: они чаще употребляются горожанами по отношению к деревенским жителям.

Слово *пошехонец* обязано своим переносным значением В. Березайскому, выпустившему в 1798 году книгу «Анекдоты древних пошехонцев», в которой содержатся народные рассказы о нелепых поступках, совершаемых жителями Пошехонья. Более подробные сведения об этом дал Е. А. Левашов в статье «Заблудиться в трех соснах» (Русская речь. 1967. № 3). Существительное *пошехонец* обозначает не просто беспросветно отсталого, но и глуповатого человека, совершающего анекдотические поступки. Отсталость, невежество, глупость всегда шли рядом.

Своим появлением существительное *серяк* обязано русским народным говорам. Его метафорическое значение, как и у производящего прилагательного *серый*, возникло в результате переноса обозначения цвета одежды на самого человека (в дореволюционной России крестьяне носили из домотканого грубого некрашеного сукна серого цвета сермягу). Простой, грубый, серый кафтан из сермяги называли *серяком*. До сих пор в диалектах сохранилось такое употребление (Словарь русских говоров Новосибирской области. Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1979). Перенос наименования с одежды на человека происходил постепенно: мужик в серяке → мужик, простолюдин → некультурный, отсталый человек. Последнее значение в говорах передается и другими словами с корнем *-сер-*, например, в ярославских: *серяга*, *серогашик*, *серопутый* (Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981—1991).

Переносные значения у однокоренных существительных *серятина*, *серость* даются только в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (М., 1992). *Серятина*, представляет собой словообразовательную метафору, *серость* — в интересующем нас значении является метонимическим образованием, у которого наблюдается перенос с качества, свойства человека (малокультурность, необразованность, отсталость) на всего человека.

В XIX веке появляются пять метафор, исходно обозначавших представителя какого-либо древнего племени, находившегося на низкой ступени культурного развития: *дикарь*, *скиф*, *печенег*, *троглодит*, *вандал*. Существительные *печенег* и *скиф* не получили широкого распространения.

Интересна история переносного значения слова *варвар*. В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» оно зафиксировано со значением «дикий, некультурный человек», и приведен пример, относящийся к 1678 году: «Монарх послал к ним з добрым намерением и с любовью, а они люди варвары, честь воздавать не умеют» (М., 1975. Вып. 2. С. 18). Это значение не приводят другие словари, например: «Словарь Академии Российской...» (СПб., 1822); «Русская мысль и речь. Свое и чужое...» М. И. Михельсона (СПб., 1902—1903); «Словарь русского языка XVIII в.» (Л., 1984), но в них есть другое значение: «жестокий, свирепый человек». В «Словаре церковнославянского и русского языка» (СПб., 1847), «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля и более поздних: «Словарь современного русского литературного языка» (В 17 т. М.— Л., 1950—1965); «Словарь русского языка» (В 4 т. М., 1981—1984) находим оба значения. В «Словаре русского языка» (СПб., Л., 1895—1937), «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (М., 1973) они как бы сливаются в одно — «необразованный, грубый, жестокий, свирепый человек».

Можно предположить, что значение «жестокий, свирепый человек» появилось раньше XVIII века, хотя в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» оно и отсутствует: варвары, совершая нападения на соседей, естественно, проявляли жестокость по отношению к ним. Нашу гипотезу подтверждает «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный», в качестве примера на значение «суровый, лютый, жестокий человек» приводящий цитату из Книги пророка Иезекииля (1047 г.). Наблюдаемое объединение — разъединение значений можно объяснить, вероятно, тем, что *варваром* (так же как и *вандалом*) называют не просто невежественного, некультурного человека, а такого, который беспощадно разрушает то, что представляет для цивилизованных людей определенную ценность: «[Войницкий]: Надо быть безрассудным варваром (показывает на деревья), чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, что мы не можем создать» (Чехов. Леший). Наличие общего элемента

значения «беспощадно» и позволяет объединить указанные значения в одно.

Имя французской королевской династии *Бурбонов* послужило источником формирования нарицательного существительного *бурбон* «грубый и невежественный человек». Первоначально бурбонами называли офицеров, выслужившихся из нижних чинов: «Этот Майор был из так называемых „бурбонов“, т. е. выслужившихся солдат, на тридцатом году выучился читать» (Тургенев. Петушков). Объяснение такому употреблению со ссылкой на «Исторический вестник» дается в словаре Михельсона: «По вступлении Бурбонской династии (в лице Людовика XVIII) на французский престол, по малочисленности офицеров во французской армии (а может быть, и по причинам политическим) были произведены в офицеры многие солдаты и унтер-офицеры, люди без образования и воспитания».

С XIX века известны еще две словообразовательные метафоры: *армейщина* и *солдафон*. В. В. Виноградов считал, что *солдафон* сложилось в жаргоне военных в результате присоединения к производной основе *солдат*-суффикса *-фон*, который был в ходу в этом жаргоне (Виноградов В. В. Об экспрессивных изменениях значений и форм слов // Советское славяноведение. 1968. № 4).

В XIX веке *лапоть*, а в XX — *сапог*, т. е. наименования обуви, которую носили простолюдины, переносятся на обозначение «некультурного, серого, отсталого человека». В XIX веке сапоги носили отнюдь не простолюдины, что отразилось в пословицах *Сапог с сапогом, лапоть с лаптем; Лапоть знай лаптя, а сапог сапога; Чем лаптю кланяться, так уж поклонись сапогу* и т. п. Поэтому и соответствующее переносное значение у лексемы *сапог* развивается только в XX веке, когда сапоги стали восприниматься как вид обуви, носимый некультурными людьми. Аналогичный перенос наименований наблюдается у *валенка*: «Они любят рассказывать — смеются всегда — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам» (Шукшин. Медик Володя); «Валенок сибирский — зло и насмешливо прошептал Щиблетов» (Шукшин. Ораторский прием).

В современном русском литературном языке *охреян*, *вахлак*, *сиволдай* являются немотивированными образованиями. М. Фасмер в своем «Этимологическом словаре русского языка» (М., 1964—1973) указывает на диалектное происхождение слова *охреян*. По поводу существительного *вахлак* он замечает, что этимология его неясна, хотя и приводит глагол *вахлять* «халтурить, делать небрежно». На наш взгляд, наличие этого глагола в говорах, а также *вахлить* «брести, медленно идти, быть в грязи» и обилие диалектных однокоренных существительных (*вахлай*, *вахлак*, *вахлей*, *вахлуй*, *вахлюй*, *вахлюк*, *вахлюш*, *вахляй*, *вахляла* и т. д.) дает возможность считать

это слово по происхождению не только диалектным, но и производным с суффиксом *-ак*.

Существительное *сиволдай* с точки зрения эволюции языка, по всей видимости, представляет собой сложное слово. Первая часть его вполне прозрачна. Она соотносится с прилагательным *сивый* «серовато-сизый, пепельно-серый», употребленном метафорически, по аналогии с прилагательным *серый*. Что представляет собой вторая часть, определить трудно. Скорее всего, мы имеем здесь дело с наложением лексем компонентов этого слова: *сиволдай*. В Словаре В. И. Даля данная лексема помещена в виде *сивалдай*. Говорам известны существительные с корнем *-волд-* (*-валд-*): *валдуй* «придурковатый человек, дурак, обалдуй», *волдыга* (*валдыга*) «своевольный человек, гуляка». У них должно было бы быть какое-то производящее слово, которое, вероятно, выступало также в качестве мотивирующего для лексемы *сиволдай* (*сивалдай*).

К числу словообразовательных метафор, появившихся в XIX веке, относятся *неотёса*, *сиволап*, *дроволом*. Все они характерны для просторечия, причем два последних ныне считаются архаизмами. Также к XIX веку восходят лексемы *скотинин*, *простаков*, *скалозуб*, *неуважай-корыто*. Они обязаны своим рождением художественной литературе, но достаточно широкого распространения не получили.

В заключение можно выстроить синонимический ряд «некультурный, серый, отсталый человек»: *дикарь*, *варвар*, *вандал* (обычно о разрушителе культурных ценностей); *троглодит*, *серяк*, *серость*, *серятина*; *скотинин*, *неуважай-корыто*; *армейщина*, *бурбон*, *скалозуб*, *солдафон* (о военном); *мужик*, *деревня*, *деревеница*; *валенок*, *лапоть* (*лапотник*), *сапог*; *пошехонец* (обычно о глуповатом человеке), *неотёса*, *простаковы*, *печенег*, *скиф*, *сиволап*, *сиволдай*, *вахлак* (устаревшие); *охреян*, *селянин*, *дроволом* (старинные).

Санкт-Петербург

В. Г. КОСТОМАРОВ. Языковой вкус эпохи

Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы...

Ю. Левитанский

Подзаголовок этой книги — «Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа» напоминает о первой широко известной монографии В. Г. Костомарова «Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики» (М., 1971).

Продолжение работы автора над языком современной газетной речи на новом историческом срезе не может не привлечь к себе внимания. Однако цель написанной книги — не только в характеристике речевой практики современных журналистов. Хотелось бы подчеркнуть, что среди ключевых понятий опорных звеньев монографии фигурируют такие существенные общие категории, о которых в наше время филологам нельзя забывать: это понятия «языкового вкуса» и «языковой моды».

Значительность этих явлений В. Г. Костомаров подчеркивает на последней странице книги: «Любая односторонняя крайность моды, любая халтура уродуют национальный вкус, а он, в свою очередь, меняя чутье языка, отравляет эстетическую флору настолько, что способен низвести язык Тургенева до красноречия или удручающей скудости» (с. 236).

Понятие языкового вкуса в русской словесности имеет давние традиции и широко рассматривалось в риториках XVIII—XIX вв. Можно привести одну иллюстрацию. Как учил Н. Ф. Кошанский А. С. Пушкина и лицейстов, что такое *вкус*? Вкус не есть удел немногих, — замечал Н. Ф. Кошанский, — но свойствен всем, как способность говорить и думать. Вкус «следует общим началам, имеет свою теорию и, кажется, может составить науку, подобно логике, риторике, поэзии» (Кошанский Н. Ф. Частная риторика. СПб, 1836. С. 13). По Лагарпу, вкус «есть какое-то легкое, эфирное, неприкосновенное для нас чувство приятности или неприятности при виде красот или безобразий в природе, в искусствах», — и в языке, добавим мы (цитируется по той же книге. С. 12).

Как и чувства, вкус следует воспитывать, чтобы молодые люди не впадали в крайности: сентиментальность, жестокость, пошлость, вульгарность, грубость, фанатизм и под.

Поэтому особенно ценно, что осмыслению понятия вкуса как категории речевой культуры в книге В. Г. Костомарова посвящен отдельный параграф введения. Прочитируем базисные положения: «Вкус вообще — это способность к оценке, понимание правильного и красивого; это пристрастия и склонности, которые определяют культуру человека в мысли и труде, в поведении, в том числе речевом. Под вкусом можно понимать систему идейных, психологических, эстетических и иных установок человека к языку, способность интуитивно оценивать правильность, уместность, эстетичность речевого выражения» (с. 21). В ходе теоретических обобщений В. Г. Костомаров отмечает, что «вкус — это, в сущности, меняющийся идеал пользования языком соответственно характеру эпохи... Вкус нередко теряет историческую обоснованность и следует конъюнктурным, случайным устремлениям. Он становится тогда дурным вкусом» (с. 24).

Заметим, что представляя книгу В. Г. Костомарова на страницах журнала «Русская речь», мы считали необходимым цитировать самые важные ее положения как можно шире. Дело в том, что, к большому сожалению, купить эту книгу в свободной продаже, возможно, не удастся, так как тираж ее — всего 2000 экземпляров (книга выпущена московским издательством «Педагогика-Пресс» в 1994 году). Тем не менее нельзя не высказать пожелания, чтобы познакомиться с ней смог каждый, кто в силу профессионального либо другого интереса собирается размышлять или судить о «состоянии» русского литературного языка наших дней.

Повествование в книге построено так, что автор вводит читателей в круг обсуждаемых проблем, ставит вопросы, а затем рассматривает их в отношении к основным ярусам языка: отмечены характерные процессы, происходящие в лексике, словообразовании, грамматике, фонетике, орфографии и пунктуации. Исходным пунктом всех изменений автор считает изменения в стилистике.

Говоря об особенностях проявления моды как крайности речевого вкуса в стилистике, автор отмечает следующее: «Стиль сегодняшнего общения характеризуется размытостью границ между разными коммуникативными сферами, нивелировкой типов речи, в том числе и официальной» (с. 33). Существенно деформируют и искажают традиционное стилистическое деление речи особенно ныне популярные словесные игры, шутки, каламбуры («разного качества и приличия», по замечанию В. Г. Костомарова), «шутливые и даже издевательские расшифровки и подмены по созвучию, присловья, пустоговорки, „покупки“, макаронизмы, окказиональные образования, новые типы сочетания слов, необычные стилистические объединения и т. п.» (с. 33). Во всем этом — реакция на застывшую, умертвляющую разум и чувства речевую манеру тоталитарного строя.

В современном стилистическом настрое пишущих журналистов и отборе языковых средств наблюдается склонность к раскрепощенности, к снятию запретов, допуску любых кажущихся им уместными средств выражения. Поэтому проникают в эфир и прессу «язык трамвайной перебранки», выражения вроде «крыша поехала», «ложьте сюда», «ножичком порешил папульку»; примитив типа «Играйте и выигрывайте!», а также множество той немудреной рекламы, от которой так плохо становится взрослому, но которую дети повторяют легко, без предубеждения, наивно полагая, что сказано удачно (ведь иначе с экрана телевизора это не прозвучало бы!).

Характеризуя процессы, протекающие в области лексики, В. Г. Костомаров выделяет: внутренние заимствования (из просторечия, диалектов, жаргонов); внешние заимствования (американизмы и другое иноязычное влияние), а также переосмысления, сдвиги в семантике слов и так называемой «новой фразеологии».

Автор не мог пройти мимо экспансии жаргона и широкого использования на страницах газет «блатных» и «приблатненных» элементов типа *бабки*, *штука*, *кусок*, *лимон*, *стольник*, *чирик* в значении «деньги, купюры различного достоинства»; *баксы*, *гринь*, *зеленьские* в значении «доллары»; слов типа *тусовка*, *разборка* и под.

Заимствования из жаргона, приводимые в книге в качестве иллюстрации, выглядят совершенно безобидными на фоне примеров из печати, характеризующих стремление к созданию «разговорно-доверительной и даже грубовато-просторечной тональности» речи, куда относится «непечатное и нецензурное слово», т. е. так называемая ненормативная лексика, за употребление которой совсем недавно приходилось платить штрафы. В. Г. Костомаров комментирует это явление следующим образом: «...При всех перехлестах и этических послаблениях перед нами естественный процесс, и многих пугающий перепад уровней допустимого и непечатного сменится, надо верить, новым балансом разных речевых слоев в литературном каноне» (с. 60).

Страстные призывы спасти русский язык от иностранного засилия (в особенности, американского) раздаются в широких кругах писателей, преподавателей, общественных деятелей. Однако нельзя не заметить, что обилие заимствований является свидетельством другой и прямо противоположной процессу снижения стиля чертой современной тенденции языкового развития: «стремления к „вокнижению“, изошренности речи» (с. 81). Прочитайте страницы книги, посвященные этой проблеме, и вы узнаете о причинах активизации этого явления на примерах лексем: *мониторинг*, *спонсор*, *фьючерсный*, *саммит*, *лизинг*, *ваучер* и т. д. Жизненно оправданными называет В. Г. Костомаров заимствования обозначений новых явлений рыночной экономики, новой техники и технологии,

заимствования терминов современного делопроизводства, компьютерных и информационных устройств, таких, как *факс, видео, плейер, эквалайзер* и др.

К фразеологии нового времени отнесены сочетания: *новые русские, процесс пошел, его захлопали* (не дали выступить), *силовые структуры, момент истины, в этой стране* (о собственном Отечестве), *агенты влияния, конституционное пространство* и т. д. «Идет массовое напряженное фразеотворчество», — констатирует автор, и мы являемся тому свидетелями.

Опуская в этой рецензии много интересных и важных моментов современной речевой практики, представленных в книге, отметим только еще несколько, на наш взгляд, достоинств ее нормативной целенаправленности. Если автор рассматривает проблему обращений или, например, переименований, то делает это так, что мы становимся как бы наблюдателями этого процесса от его начала и до конца. Так, когда идет речь о переименовании городов, улиц и новых государств, предлагаются и списки новых названий. Поэтому книга является своеобразным справочным пособием, помогающим разобраться во всем обилии новых названий улиц, площадей, проспектов не только Москвы, но и других городов России и зарубежья.

Оценивая новые языковые реалии, В. Г. Костомарову приходилось руководствоваться даже соображениями политического такта. Вспомним поразившее многих требование Украины употреблять сочетание «в Украине» вместо привычной формы управления «на Украине». В этом отношении показательна позиция автора, высказанная на с. 21: «Порой приходится мириться и с самым наивным политическим и национальным мышлением: есть вещи выше неприкосновенной чистоты литературно-языкового канона».

Собрав обширный новый материал, характеризующий современное состояние литературного языка, автор — и это особенно важно — дал необходимую общественную, лингвистическую и этическую оценку речевых явлений. Это поможет нашим преподавателям и деятелям культуры глубже вникнуть в суть происходящих в языке явлений. Может быть, список речевых «новшеств» можно было бы и продолжить, и дополнить, но главное достоинство книги — это широта научного подхода к материалу и новизне нормативной концепции. И еще: спокойная и уверенная манера повествования, за которой стоит серьезное и глубокое понимание сущности проблем.

Л. К. Граудина,
доктор филологических наук,
Т. Л. Козловская,
кандидат филологических наук

Л. П. КАЛАКУЦКАЯ. Фамилии. Имена. Отчества. Написание и склонение

Ф. И. О.— Фамилии. Имена. Отчества.— Это название недавно вышедшей книги. И как бы подыгрывая этой официальной формуле именованя, стоит на обложке имя автора — *Калакуцкая Лариса Павловна*.

Книга посвящена описанию и склонению собственных имен в современном русском языке. Она отвечает запросам практики, поскольку (как отмечает автор в предисловии) «до сих пор ни в русских грамматиках, ни в орфографическом своде не были последовательно сформулированы подобные правила. Необходимость их диктуется самой жизнью общества».

Л. П. Калакуцкая постоянно отвечала на запросы загсов и отдельных граждан по поводу правильности записи имен в различных документах. Таким образом, эта книга имеет длительную предысторию, а сама автор называла ее Руководством по орфографии, акцентологии и склонению фамилий, имен и отчеств в современном русском литературном языке.

Чтобы собрать, понять и оценить материалы для будущей книги, Л. П. Калакуцкая проделала огромную работу, наблюдая над употреблением имен в жизни, а также изучая художественную, историческую, мемуарную, эпистолярную литературу двух последних столетий. Автор хорошо понимала, что нормы, тенденции написания и склонения современных имен закладывались значительно раньше. Ею была составлена картотека (свыше ста тысяч словоупотреблений), охватывающая все названные проблемы.

В составленном Л. П. Калакуцкой Руководстве приводятся большие списки личных имен и отчеств с указанием ударения, склонения и различного рода вариантов, однако не выходящих за пределы норм литературного языка. Два небольших указателя имен в прямом и обратном алфавитном порядке помогут читателю найти правило написания, склонения или акцентуации искомого имени.

Большие трудности для работников загсов и паспортных столов представляют фамилии, являющиеся по форме прилагательными: *Белый, Толстой, Поверенный*. Образование женских форм фамилий от мужских и мужских от женских оказалось камнем преткновения. То женам записывают фамилию мужа в мужском роде: *Рудой, Косой*, или их оставляют вообще без склонения. В книге Л. П. Калакуцкой

этому типу фамилий посвящается специальный параграф, где на большом числе примеров показывается правомерность форм обоего рода: *Островой — Острового — Островому, Островая — Островой; Поверенный — Поверенного — Поверенному, Поверенная — Поверенной* (с. 31). Кстати, для общей лексики слова типа *поверенная, кошевая, хорунжая* неприемлемы, поскольку должности, от названия которых образованы эти фамилии, занимали исключительно мужчины. Но для собственных имен — многое иначе.

Стоит отметить и тот факт, что в книге представлены интересные и обширные филологические примечания, в которых Л. П. Калакуцкая рассказала об особенностях литературного языка прошлого.

Полная оптимизма, Лариса Павловна Калакуцкая обращается в конце предисловия к читателю с просьбой присылать свои отзывы и замечания. Но судьба распорядилась иначе: Лариса Павловна от нас ушла, безвременно и внезапно.

Рецензируемая книга — это и память о ней и своего рода напоминание о той большой духовной культуре, в окружении которой она жила сама и которую старалась передавать ближним. Книга, создававшаяся как руководство, как своеобразное собрание норм, читается легко и больше походит на литературное произведение, в котором многое формулируется и освещается автором впервые.

*А. В. Суперанская,
доктор филологических наук*



В. Г. СМОЛИЦКИЙ. Русь избяная

Книга эта, изданная в 1993 году Государственным республиканским центром русского фольклора, будет интересна всем, кого волнуют проблемы традиционной русской культуры. Автору ее удалось, на наш взгляд, весьма удачно соединить искусствоведческий, этнографический и чисто филологический подходы к проблеме русского традиционного жилища. Небольшая по объему, книга В. Г. Смолицкого позволяет читателям увидеть идеальный русский дом снаружи (этому посвящены главы «Имба, дворец, дом, терем», «Терем — высокий, ворота — широкие»), познакомиться с его интерьером (главы «Красный угол», «Горница — новая, стол — дубовый, занавеска — браная»), почувствовать нерасторжимость связи незатейливых деревянных построек с окружающей их природой (глава «Чистое поле — дом — человек»). Пытливый читатель обнаружит немало практических сведений о том, как строили дома наши предки, как и из чего делали мебель, чем украшали свое жилище, делали его уютным и удобным.

Однако перед нами не практическое пособие на тему «Как построить дом в деревне», а интересное и глубокое исследование коллективной народной эстетики, концепции «красоты жилища». Автор исходит из того, что к концу XIX — началу XX веков уже сложились «общенациональные народные представления об идеальном жилище» (С. 7). Соотнесение народной поэзии с материалами архитектурного фольклора позволяет достаточно наглядно увидеть, как представления народа о красоте претворялись в его практической деятельности.

Автор проанализировал значительное количество фольклорных текстов, песенных и сказочных (более 3 тысяч), что позволило ему говорить не только о специфически местных традициях, но и выявить общерусские национальные взгляды на жилище, отразившиеся в фольклоре. В книге приводятся сведения о происхождении самих слов *изба*, *дворец*, *дом*, *печь*, *кут* и др., даются многочисленные примеры их употребления в сказках, в обрядовых песнях. До сих пор никто, пожалуй, не рассматривал народную поэзию с такой «этнографической» точки зрения. Интерес читателя, несомненно,

вызовет подробный филологический комментарий к теме «Что есть печь в русском фольклоре» (в главе «Красный угол»). Со знанием дела описывает В. Г. Смолицкий и разнообразные изделия народного ткачества, служащие украшением традиционной избы, но и придающие определенной завершенности всему интерьеру.

Анализ фольклорного материала убедительно показывает, что общая эстетическая норма крестьянского быта самым точным образом совпадает с эстетической целостностью всей поэтической системы народного песенного и сказочного творчества. «Косящатое окно» — это не только указание на то, каким образом оно сделано, еще больший смысл оказывается зашифрованным. Небольшая деталь фасада сразу говорит и о самом хозяине дома (достаточно ли зажиточном), и о всем доме вообще (дом должен быть достаточно просторным), и даже об освещенности его внутреннего пространства.

В главе «Красный угол», центральной в книге, В. Г. Смолицкий подробно описывает внутреннее убранство традиционной избы. Печь и красный угол — вот главные ее атрибуты, с ними связана вся жизнь деревенского дома. Их «отношения» автор называет «опозицией на самых различных уровнях: сон — бодрствование, место хозяйки — место хозяина, трудовые будни — праздник, праздничное застолье, место немощного, слабого, „бесполезного“ — место главы семьи и почетного гостя, бесчестье — честь ... нечистое место — святое место» (С. 58). Так, даже внутренний мир русского дома оказывается во власти тех противоречий, которые для многих составляют суть всей русской жизни, одинаковую верность взаимоисключающих о ней тезисов.

В традиционном русском зодчестве эта «противоречивость» проявляется в постоянном стремлении придать зданию устремленность вверх, подчеркнуть его «высоту поднебесную» — и с другой стороны, в четко видимом замедлении этого движения вверх по мере того, как мы станем обходить здание вокруг, а когда дом повернется к нам своей брусовидной боковой стороной — он словно прижат к земле, чувствуя всю ее тягу (С. 34). Движение вверх, к Богу — и невозможность преодолеть «тягу земную»... Сходна с этим и композиция внутреннего убранства дома: центр его — сияющая божница с иконами, и тут же спрятанное от посторонних глаз «потайное» место за печью. С помощью ярких примеров автор показывает, как целостная структура избы, строгая иерархия ее составляющих, выработавшаяся веками, учитывающая все строительные тонкости, нашла поэтическое выражение в традиционной лирике. И вновь мы вместе с автором подходим к вопросу, что же такое «красота» в народном понимании, в чем ее подлинность.

Особое место в книге занимает завершающая глава «Частушка об избе». Читая ее, яснее и четче ощущаешь, «какую Россию мы потеряли», если говорить словами публицистов. Какая пропасть

пролегла между тем «домом», о котором с любовью заботились и мечтали наши предки, и той «жилплощадью», где мы вынужденно обитаем. Думается, что не один любитель народного искусства с болью и горечью прочтет строки об уничтожении традиций народного зодчества, о попытках приспособить их к сиюминутным идеологическим целям. И как следствие этого — «полная вкусовая беспомощность» местных мастеров в попытках противостоять серому единообразию современной деревенской архитектуры. Восхищаешься порой технической виртуозностью такого умельца, когда видишь дом, весь украшенный резьбой, и бесконечно горько становится от мысли, какую красоту мог бы создать этот человек, не выдерни его злая судьба из традиционной цепи русских мастеров, из поколения в поколение передающих секреты красоты и меры.

Сейчас много говорится о возвращении к народным истокам. Но нельзя делать это поспешно, забывая о печальном опыте насильственного внедрения в жизнь традиций и праздников, все равно «советских» ли, «народных» или православных. Не механическое перенесение, зачастую подражательное копирование неких традиционных элементов, а уяснение самих принципов, той меры и соразмерности, лежащих в основе русского быта, — вот в чем, по мнению автора «Руси избяной», должен быть смысл возрождения народных традиций. Читая книгу В. Г. Смолицкого, еще и еще раз убеждаешься, сколь велик и необъятен мир народной культуры, лежащий за стенами города, и как мало мы его знаем, как, зачастую, односторонни и поверхностны наши суждения о нем. Так пожелаем же себе удачи на этом долгом пути постижения народной истины, правды и красоты.

Н. В. Михайлова



О «сирени» у Пушкина

А. Н. ШУСТОВ

Небольшая по объему, но весьма содержательная статья Н. С. Араповой об истории слова *сирень* («Русская речь». 1994. № 5) напомнила событие более чем тридцатилетней давности, и мне захотелось поделиться этим воспоминанием с читателями, которых очерк Араповой также не оставил равнодушными.

В январе 1960 года мне довелось присутствовать на заседании Пушкинской комиссии в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Покойный писатель-лингвист Л. В. Успенский выступил тогда с обстоятельным докладом о словарях языка писателей. Рассматривая различные лингвистические «парадоксы» на примерах из Пушкина (к тому времени уже вышли в свет два первых тома словаря языка поэта), Лев Васильевич назвал и строку из «Евгения Онегина»: «[Татьяна] кусты сирен переломала,/По цветникам летя к ручью».

Интересен ход последовавшей дискуссии.

Слово *сирен* (т. е. как бы *сирень* без мягкого знака) никого не смущало. На это не обратил внимания и Успенский. Все были абсолютно уверены, что это если и не описка (ошибка?) Пушкина, то в крайнем случае — один из вариантов (чуть ли не просторечный) слова *сирень*; по типу *топол/тополь*, встречающемуся у поэта. Основной спор разгорелся о том, нужна ли запятая после слова «кусты» или Пушкин «забыл» ее.

Одни утверждали, что запятая нужна: Татьяна, мол, на бегу поломала кусты какого-то растения, а также и сирень. То есть это как бы перечисление: кусты, сирень и т. д.

Другие (и среди них был докладчик Успенский) считали, что запятая не нужна, объясняя это тем, что сирень в русских помещичьих садах была в те времена весьма редким растением, ее мало кто знал и было важно подчеркнуть, что это именно кустарник.

В книге «Слово о словах» Лев Васильевич писал об этом так: если Пушкин упомянул о сирени лишь один раз, то слово это было очень редким в помещицьем быту (затем в скобках, что Пушкин был хорошо знаком не только с провинциальными садами, но и со столичными и южными парками, так что это, как говорится, — «не доказательство»). Успенский продолжает: «Тем более кажется это правдоподобным, что и сама форма, в которой Пушкин говорит о сирени, представляется несколько неожиданной. <...> Говоря о знакомом растении, — ну, скажем, о березе, — мы ведь вряд ли назовем его „дерево береза“, а вот какую-нибудь араукарию довольно естественно так назвать», т. е. добавить определение „куст[ы]“» (глава «Не совсем обычные словари»).

Кто-то, кажется, вспомнил, что ведь и Гоголь отметил, что в саду у Манилова «были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций» (см. «Мертвые души». Т. I. Гл. 2). Правда, при этом было не совсем ясно, почему же у Гоголя написано «правильно», а Пушкин выразился как-то «не по-русски»: «кусты сирен», как будто слово «сирень» никак не склонялось. О том, что это родит. падеж множ. числа от слова *сирена* → *сирены*, не обмолвился никто.

В результате вопрос о запятой остался открытым, а составители словаря языка Пушкин, твердо уверенные в своей правоте, «подправили» поэта, приписав ему привычное для нас существительное *сирень* (см. том 4-й), которого он действительно «не знал» — во всяком случае, оно ни разу не встречается ни в каких его текстах.

Санкт-Петербург



ОБ ОДНОЙ РУССКОЙ ФАМИЛИИ

А. Л. ШИЛОВ,
доктор химических наук

В одной из статей серии «Из словаря русских фамилий» В. А. Никонов привел фамилию *Шувандин* и допустил возможность того, что в каком-то из русских диалектов имелось слово *шуванда*. Но эта фамилия могла произойти не от нарицательного (через стадию прозвища), а от названия населенного пункта или географического объекта. В финском языке есть слово *суванто*, в карельском — *шуванто*, *шувандо*, что значит «плес озера; вытянутое озеро». На территории России есть несколько названий, произошедших из этого нарицательного. Во-первых, это озеро *Суванто*, ныне *Суходольское*. Поселения на нем известны уже с XV века (*Сакульский погост*, позднее — *Саккола*, ныне — *Громово*; *Сванский волочек*, позднее — *Тайпале*). Во-вторых, это деревня *Шуванда*, названная Писцовой книгой Водской пятины 1500 года в Сердобольском погосте (на северо-западе Ладожского озера). Наконец — это деревня *Кушеванда*, ранее называвшаяся также *Шуванда*, расположенная у озера *Шуванда* на реке *Пистайоки* в северо-западной Карелии. Таким образом, можно предположить, что носитель фамилии *Шувандин* является потомком жителей северо-западной России, т. е. старых новгородских земель.

ТИПА ТОГО ЧТО

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Сравним два текста: «Партнерство во имя мира» — это не вторая Ялта, — заявил российский министр, подразумевая тем самым, что ни Россия, ни НАТО не хотят нового раздела мира — *типа того, что* произошел после второй мировой войны (Известия. 24 июня. 1994); «Особый разговор — о языке. Конечно, с имперскими замашками *типа того, что* куда бы ни приехал, все обязаны разговаривать с тобой на русском (английском, французском и т. д.) языке, пора кончать» (Игорь Бестужев-Лада. Великое переселение советских народов // Горизонт. 1991. № 12. С. 12).

Внешнее сходство выделенных конструкций обманчиво. В первом тексте возможен другой порядок слов: «...не хотят нового раздела мира — *того типа, что* произошел после второй мировой войны». Здесь союз *что* соединяет с главным предложением придаточное определительное.

Во втором тексте перестановка невозможна. И *что* в нем не союз, и запятая, к стати, не нужна. Тут устойчивый порядок слов. В первом тексте слово *тип* обладает одним из известных ему в языке символов: «вроде, наподобие кого — чего в значении предлога с род. п. *Устройство типа центрифуги. Гостиница типа пансионата*» (Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой). Ср. возможность изменения в тексте: «...не хотят нового раздела мира *типа ялтинского* (т. е. не хотят раздела мира *вроде, наподобие ялтинского*)». Сопоставляются близкие, родственные, подобные объекты, они уподобляются: ялтинский раздел и гипотетический.

В тексте же из «Горизонта» этого сопоставления, уподобления нет. Тут есть как бы представление, показ примера имперских замашек. Здесь невозможно заменить *типа того что* словами *вроде, наподобие*.

Попробуем конструкцию *типа того что* заменить конструкцией *вроде того что*: «...с имперскими замашками *вроде того что* куда бы ты ни приехал, все обязаны...». Кажется, смысл сохраняется. Еще примеры уже из записей живой речи: «Он сказал *типа того что* не придет»; «Она долг ей не отдает — *типа того что* зажулила». И здесь возможна замена на *вроде того что*. Сочетание *вроде того что* так

пояснено в Словаре Ожегова — Шведовой: «Вроде того что... (прост) — как будто, кажется. *Он вроде того что обиделся*». В этом значении сочетание совпадает по смыслу с частицей *вроде*: «Он вроде захворал».

Однако при замене *типа того что* на *вроде того что* нет ни сравнения чего-нибудь с чем-нибудь, ни неуверенности в сути сообщенного, напротив, сохраняется уверенность в ее передаче.

Возможно, это свидетельствует о том, что конструкция *вроде того что*, кроме значения «как будто, кажется», может выражать и значение «по существу», «в сущности», сообщающее, что связанный с этой конструкцией глагол в первом приближении верно называет действие, о котором упомянул субъект или которое он совершил.

Конструкция *типа того что* возникла, возможно, из контаминации слова *тип* в роли предлога и словосочетания *вроде того что*: произошла замена одного из слов устойчивого сочетания *вроде синонимичным тип*, которое в роли предлога в литературном языке вместе с управляемым существительным не служит ни передаче приблизительности чего-либо, ни сравнению чего-либо с чем-либо, а лишь указывает тот ряд, класс предметов, к которому данный предмет принадлежит.

Эта контаминация семантически неверна. Конструкцию *типа того что* следует, видимо, квалифицировать как грубо просторечную и к употреблению не рекомендовать. Она стоит в одном ряду с такими «перлами» старого и нового просторечия, как *обратно засмеялся, пришел со школы, он в принципе болен и где-то прав*.